

НОВОЕ
В ЖИЗНИ, НАУКЕ,
ТЕХНИКЕ

ЗНАНИЕ

Л. Г. Фризман

ПОЭЗИЯ

ДЕКАБРИСТОВ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРА

6/1974



Л. Г. Фризман,

кандидат филологических наук

ПОЭЗИЯ

ДЕКАБРИСТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЗНАНИЕ“
Москва 1974

- Фризман Л. Г.
Ф88 Поэзия декабристов. М., «Знание», 1974.
64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия
„Литература“, 6. Издается ежемесячно с 1967 г.)

В 1975 г. исполняется 150 лет со дня восстания декабристов. Предлагаемая брошюра характеризует своеобразие творческих исканий поэтов-декабристов: К. Рылеева, В. Кюхельбекера, В. Раевского, А. Одоевского и других, идейное и художественное значение их лучших произведений, воздействие совершенных ими поэтических открытий на литературное движение своего времени. В нее входит анализ некоторых особенно близких современному читателю стихов декабристских поэтов, она знакомит с малоизвестными фактами общественной и литературной борьбы.

70202

8Р1

СОДЕРЖАНИЕ

«НЕ КЛАССИК И НЕ РОМАНТИК, А ЧТО-ТО»	3
«ЛЮБОВЬ ЛИ ПЕТЬ, ГДЕ БРЫЗЖЕТ КРОВЬ»	19
«НОВАЯ ТРОПА В РУССКОМ СТИХОТВОРСТВЕ»	32
«НЕТ ПОДВИГАМ ЗАБВЕНЬЯ»	56
ЧТО ЧИТАТЬ О ПОЭЗИИ ДЕКАБРИСТОВ	63

Леонид Генрихович Фризман

ПОЭЗИЯ ДЕКАБРИСТОВ

Редактор *Н. М. Краснопольская*. Обложка художника *Л. В. Андреевой*. Худож. редактор *Т. И. Добровольнова*. Техн. редактор *И. Г. Федотова*. Корректор *О. Ю. Мигун*.

А06815. Индекс заказа 37006. Сдано в набор 13/III 1974 г. Подписано к печати 25/IV 1974 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Бум. л. 1,0. Печ. л. 2,0. Усл.-печ. л. 3,36. Уч.-изд. л. 3,24. Тираж 149 100 экз. Издательство „Знание“. 101835, Москва, Центр, проезд Серова, д. 3/4. Заказ 591. Цена 10 коп.

Типография им. Володарского Лениздата,
Ленинград, Фонтанка, 57,

© Издательство „Знание“, 1974 г.

ОТЕЧЕСТВО НАШЕ СТРАДАЕТ
ПОД ИГОМ ТВОИМ, О ЗЛОДЕЙ!
КОЛЬ НАС ДЕСПОТИЗМ УГНЕТАЕТ,
ТО СВЕРГНЕМ МЫ ТРОН И ЦАРЕЙ,
СВОБОДА! СВОБОДА!
ТЫ ЦАРСТВУЙ НАД НАМИ!
АХ! ЛУЧШЕ СМЕРТЬ, ЧЕМ ЖИТЬ РАБАМИ, —
ВОТ КЛЯТВА КАЖДОГО ИЗ НАС...

Эти страстные строки написаны более 150 лет назад. Но и сегодня их нельзя перечитывать без волнения. Потому что это не просто стихи. Это — пользуясь известным выражением Огарева — «памятник героического времени русской жизни». Времени, когда Россия впервые увидела революционное выступление против царизма. Это выступление было разгромлено. Николаевские пушки залили кровью Сенатскую площадь. На заснеженных полях близ Белой Церкви было подавлено восстание Черниговского полка. Царизм жестоко расправился с революционерами. Пять руководителей движения: П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский были повешены, свыше ста — отправлены в Сибирь, на каторгу и в ссылку. «Узок круг этих революционеров, — писал В. И. Ленин в статье „Памяти Герцена“. — Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало».

Не погибли и стихи декабристов. Этими стихами говорила поработенная страна, лучшие представители которой проявили готовность пожертвовать собой, чтоб приблизить час ее освобождения. Эти стихи — живое воплощение единства революционного слова с революционным делом. Стихи декабристов составили замечательную страницу не только истории русской литературы, но и истории революционных идей, и освободительного движения в России.

„...НЕ КЛАССИК И НЕ

РОМАНТИК, А ЧТО-ТО“...

Поэзия декабристов — этими словами мы привыкли характеризовать то цельное и своеобразное художественное явление, которое было создано в 1810—1830-х годах

поэтическим творчеством деятелей дворянской революционности. Но чем пристальнее вглядываешься в облик каждого из поэтов-декабристов, тем яснее, зримее несходство их творческих судеб, различия литературно-эстетических позиций, своеобразие художественных исканий.

Вот Владимир Раевский, «первый декабрист», еще за три года до восстания попавший в застенки по обвинению в революционной агитации. Спартанский дух этого человека не сломили ни крепость, ни ссылка. Он имел право сказать о себе:

...Я судьбу мою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.

(«К друзьям в Кишинев»)

Вместе с Раевским к старшему поколению поэтов-декабристов принадлежали Федор Глинка и Павел Катенин. Глинка был руководителем Вольного общества любителей российской словесности — одного из первых в русской истории передовых писательских объединений. В Вольном обществе по праву видят филиал декабристских организаций — Союза благоденствия, а позднее Северного общества. Катенин, активный участник Союза спасения и один из руководителей тайного революционного Военного общества, автор стихов, которыми начинается эта брошюра, вошел в историю нашей литературы плодотворными попытками создать произведения, пронизанные национальной самобытностью и народностью. Новаторство, оригинальность, «гордую независимость» Катенина-поэта высоко ценил Пушкин.

Рылеев, «Шиллер заговора», как назвал его Герцен. Пылкий патриот, беззаветно преданный делу освобождения своей родины от деспотизма и произвола, он оставил нам стихи, полные гнева и боли за «страждущую» отчизну. «Одной лишь думы власть», «одну — но пламенную страсть» нес он в себе до дня, когда погиб мучеником в Петропавловской крепости.

Если Рылеев писал преимущественно стихи, то в творческом наследии его друга и соратника Александра Бестужева стихи главного места не занимают. Ведущий критик 1820-х годов, завоевавший позднее громкую известность как популярный беллетрист своего времени,

выступавший под псевдонимом Марлинский, он оставил однако заметный след и в декабристской поэзии.

Кюхельбекера долго считали лишь пылким чудачком. Немногие из современников сумели увидеть и оценить масштабность и разносторонность его таланта. Поэт, драматург, мыслитель, критик, теоретик искусства, он создал произведения, многие из которых почти столетие оставались неизвестны. Лишь при Советской власти читатель смог ознакомиться с ними и осознать, сколь прав был Пушкин, когда назвал Кюхельбекера «атлетом», «сильным и опытным».

Александр Одоевский — поэт декабристской каторги. Его стихи запечатали убеждение в правоте и бессмертии дела дворянских революционеров. Большое место в его творчестве заняла национально-историческая тема, философская проблематика. Искания Одоевского подготовили последующие достижения русской лирики, в частности Лермонтова.

Наряду с профессиональными литераторами в создании декабристской поэзии приняли участие и многие другие дворянские революционеры: М. А. и Н. А. Бестужевы, Н. И. Лорер, Г. С. Батеньков, братья Бобрищевы-Пушкины, Д. И. Завалишин, В. Л. Давыдов, Н. А. Чижов, А. П. Барятинский, Н. И. Тургенев, Ф. Ф. Вадковский, Н. Ф. Заикин.

Декабристская поэзия — это не только стихи членов тайных обществ. Относя к ней то или иное произведение, мы прежде всего принимаем во внимание не биографию его автора, а идейно-художественный смысл и общественное звучание этого произведения. Декабристская поэзия представляла собой идейное единство, которое нельзя представить себе без Грибоедова и Пушкина. Большим или меньшим количеством своих произведений в нее закономерно входят Гнедич, Вяземский, Языков, Баратынский, Сомов, Денис Давыдов, Веневитинов.

Говоря о декабристской поэзии и декабризме вообще, важно избежать двух равно ошибочных крайностей. С одной стороны, нельзя ограничивать ее лишь теми произведениями, в которых излагаются политические лозунги и политическая программа тайных обществ. Декабризм проявил себя в создании нового, собственного мировоззрения, своих моральных и эстетических принци-

пов, своего отношения к жизни и к человеку. С другой стороны, однако, нельзя растворять декабристскую революционность в абстрактном вольнолюбии, «подтягивать» к декабризму любое проявление либеральных настроений, любое выражение недовольства существующим порядком вещей.

Декабризм имел эпицентр и периферию. Это было широкое идеологическое движение, охватившее едва ли не всю передовую дворянскую интеллигенцию и получившее свое наиболее полное и последовательное завершение в деятельности тайных обществ. Не приходится сомневаться в правдивости слов А. Бестужева: «...Едва ли не треть русского дворянства мыслила почти подобно нам, хотя была нас осторожнее». «Менее осторожные» деятели тайных обществ ощущали себя выразителями помыслов и чувств более широких общественных кругов, которые сочувствовали им, поддерживали их, составляли их идеологический резерв. К этим кругам и была в первую очередь обращена их революционная агитация, характерной, излюбленной формой которой служил стих...

Давая в начале 1826 года показания следственной комиссии, один из вождей декабристского движения П. И. Пестель сказал: «Я никакого лица не могу назвать, кому бы я мог именно приписать внушение мне первых вольнодумных и либеральных мыслей, и точного времени мне определить нельзя, когда они начали во мне возникать, ибо сие не вдруг сделалось, а мало-помалу и сначала самым для самого себя неприметным образом...». В этих словах правомерно видеть характеристику не только одной человеческой судьбы, но и судьбы декабризма и декабристской литературы, которые тоже «не вдруг сделались» и за сравнительно небольшой срок прошли значительный путь эволюции и обновления.

Наметить сколько-нибудь строгую периодизацию декабристской литературы было бы трудно, но стоит иметь в виду по крайней мере несколько основных вех. Во-первых, 1812 год. «Мы были дети 1812 года» — эти слова М. И. Муравьева-Апостола не случайно стали крылатыми. Именно во время наполеоновских войн будущие вожди дворянского революционного движения «были заражены соприкосновением с демократическими идеями

Европы»¹. 1812 год показал мыслящей России, что дальше невозможно жить так, как жила страна до сих пор. Он заставил задуматься о своей судьбе, о своем настоящем и будущем. Он обострил внимание к вопросу, которым задавались многие и который был позднее с беспощадной прямоотой сформулирован М. П. Бестужевым-Рюминым: «...Неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными победами в войне истинно отечественной, — русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородною ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?»

Новый этап развития декабристской поэзии начинается примерно с 1817 года и охватывает конец второго и начало третьего десятилетий XIX века. В это время складываются декабристские литературные организации. Поэтическое творчество декабристов во все увеличивающейся степени становится средством революционной пропаганды. Это ведет к обновлению тем, жанров, образных и стилистических средств декабристской поэзии. В те годы создается большинство «возмутительных», антиправительственных стихов Пушкина.

Знаменательной вехой в истории декабристской литературы стал 1823 год. К тому времени передовая русская общественность, напряженно следившая за развитием революционных событий на Западе, стала получать одно за другим известия о победах реакции. Рушатся надежды, которые еще недавно склонны были питать русские вольнолюбцы. Многие из них переживают острый идейный кризис и осознают необходимость переоценки ценностей и поисков новых путей. Вопросы, поставленные временем, решаются по-разному. Твердость революционных убеждений проходит суровую проверку. Теснея становятся ряды тех, кто через два года выйдет на Сенатскую площадь, кто поведет за собой Черниговский полк. Происходит неизбежное размежевание декабристского авангарда с менее политически устойчивыми представителями либеральной интеллигенции.

В творчестве многих поэтов-декабристов 1823 год ознаменован значительными событиями. Рылеев и Бе-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 318.

стужев начинают выпускать альманах «Полярная звезда». Рылеев охладевает к жанру дум и ищет другие, более действенные, более массовые формы пропагандистской, политической поэзии. Эти пути ведут к работе над агитационными песнями, рассчитанными на распространение среди «простого народа». Кюхельбекер создает одно из этапных своих произведений — поэму «Кассандра», С. Муравьев-Апостол пишет поразительное по силе и глубине пятистишие «Задумчив, одинокий». В творчестве Пушкина 1823 год отмечен скептицизмом «Сеятеля» и «Демона».

После разгрома восстания декабристская поэзия не перестала существовать. Она продолжала жить на картоне и в ссылке. Она продолжала жить в творчестве поэтов, которые, оставшись на свободе, не отреклись от идей и помыслов, официально объявленных преступными. В обстановке страха и растерянности, которые овладели основной массой дворянской интеллигенции, когда многие вчерашние попутчики декабризма эволюционировали к сближению с реакцией, Пушкин, Вяземский, Баратынский, Дельвиг и некоторые другие писатели демонстративно и гордо хранили верность вчерашним кумирам, пели «прежние гимны».

В литературной борьбе 10—20-х годов XIX века поэты-декабристы не составляли единого лагеря, единой поэтической школы. В критических схватках «классиков» и «романтиков», «архаистов» и «новаторов» мы видим поэтов-декабристов и по ту и по другую сторону литературно-критических баррикад. Можно вспомнить полемику Грибоедова с Гнедичем, Бестужева с Катениным, резко отрицательную оценку, которую дали Бестужев и Вяземский программной статье Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». За этими спорами крылись несомненные и порой существенные различия литературных позиций разных представителей декабристской литературы. Но нельзя не видеть и другого — того, что объединяло этих поэтов при всем своеобразии их творческих исканий, при всех отличиях и в мере политического радикализма, и в отношении к традициям предыдущих эпох, и в подходе к актуальным проблемам художественного развития.

Федор Глинка заметил однажды: «Я не классик и не романтик, а что-то сам не знаю, как назвать». Это мог бы сказать о себе едва ли не каждый из поэтов-декабристов. Смысл этого очень глубокого высказывания в том, что существо декабристской литературы, определявшее ее особенность, несводимо к категориям «классицизма» или «романтизма» и не может быть лишь с их помощью объяснено. Но эта особенность существует, хотя и трудно поддается определению: не классик, не романтик, а «что-то».

Это «что-то» — сознательное и последовательное стремление поставить литературу на службу передовым идеалам своего времени, целям общественной борьбы. Устав Союза благоденствия, как известно, требовал от своих членов:

«Превозносить полезное и изящное, показывать презрение к ничтожному и вооружаться против злонамеренного...

Доказывать, что истинное красноречие состоит не в пышном облечении незначущей мысли громкими словами, а в приличном выражении полезных, высоких, живо ощущаемых помышлений.

Убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих.

Что описание предмета или изложение чувства, не возбуждающего, но ослабляющего высокие помышления, как бы оно прелестно ни было, всегда недостойно дара поэзии».

Эти мысли проходят через все литературно-эстетические декларации декабристов. Писатели разных поколений, ожесточенно спорившие друг с другом по множеству вопросов, были единодушны в главном — в понимании конечных целей искусства, в убеждении, что литература может и должна играть важную роль в решении актуальных общественных проблем и даже в преобразовании жизни. Они были единодушны в признании высокого, гражданского назначения поэтического творчества и в решительном, непримиримом отрицании того, что позднее стало обозначаться формулой «искусство для искусства».

В глазах декабристов подлинный поэт — тот, кто «не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об их сетует», а «вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края, мечет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга» (Кюхельбекер).

О, так! Нет выше ничего
Предназначения поэта:
Святая правда — долг его,
Предмет — полезным быть для света.
Служитель избранный творца,
Не должен быть ничем он связан;
Святой, высокий сан певца
Он делом оправдать обязан.

К неправде он кипит враждой,
Ярмо граждан его тревожит;
Как вольный славянин душой,
Он раболепствовать не может.
Повсюду тверд, где б ни был он —
Наперекор судьбе и року;
Повсюду честь — ему закон,
Везде он явный враг пороку.
Греметь грозой противу зла
Он чтит святым себе законом
С спокойной важностью чела
На эшафоте и пред троном.

(Рылеев. «Державин»)

Горячо, пылко, непримиримо пропагандировались эти идеи в стихах Кюхельбекера:

В поэтов верует народ;
Мгновенный обладатель трона,
Царь не поставлен выше их:
В потомстве Нерона клеймит бесстрашный стих!

(«Ермолову»)

В другом стихотворении он отводит певцу «место меж богов».

В 1820 году в связи с высылкой Пушкина из Петербурга Кюхельбекер написал программное и получившее широкий общественный резонанс стихотворение «Поэты». Это — страстная апология поэзии. Поэты — «любимцы таинственных сил», «сыны огня и вдохновенья». Они обречены на преследования и страдания:

Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?

Стадами смертных зависть правит;
Посредственность при ней стоит
И тяжкою пятою давит
Младых избранников харит.

Кюхельбекер напоминает о трагических судьбах поэтов прошлого, которые «тернистою дорогой шли» «в дальний храм безвестной славы». После смерти победили они своих гонителей:

...Ныне смолкло вероломство;
Пред вами падает во прах
Благоговейное потомство;
В священных, огненных стихах
Народы слышат прорицанья
Сокрытых для толпы судеб,
Открытых взору дарованья!

Право и долг поэтов — борьба с тиранами и свержение их ига:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала.

С призывом проявить стойкость перед лицом преследователей и бестрепетно исполнить свою высокую миссию обращается Кюхельбекер к ссыльному Пушкину:

И ты — наш юный Корифей —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана?

Современникам было хорошо известно, кто те «змеи», чье «шипенье» привело к южной ссылке Пушкина; оппозиционный, вызывающий характер этих стихов был очевиден, и не приходится удивляться, что они послужили поводом для злобного политического доноса, состряпанного В. Н. Каразиным¹.

На поэму Гнедича «Рождение Гомера» никто доносов не писал. Но декабристский характер этого произведения несомненен. И определяется он не чем иным, как тем пониманием роли поэта и поэзии, которое выдвигал и пропагандировал Гнедич.

¹ Подробнее об этом см.: В. Г. Базанов, Ученая республика. М. — Л., «Наука», 1964, стр. 141—147.

Когда Фетида, мать Ахилла, скорбела о своем временно погибшем сыне, Зевес обращается к ней со словами утешения:

Героев подвиги во гробе не умрут;
Как холмы, гробы их бессмертьем процветут.
Поэзия — глагол святого вдохновенья
Доколе на земле могуществен и свят,
Героям смерти нет, нет подвигам забвенья:
Из вековых гробов певцы их воскресят.

Последующие события как будто противоречат предсказанию Зевеса: люди забывают Ахилла.

Красноречивый прах безмолвствовал в земли;
О славном войне ахейцам говорила
Одна, в земле чужой пустынная могила.

Но свершается величайшее событие — чудо появления поэта, рождение Гомера.

И вдохновенного свершилось рождение:
Из праха глас его подымет Илион;
Он давнобытное, погрузшее в забвенье,
Все в образах живых Гелладе возвратит;
В них зашумят моря, восстанут грады, горы,
Вкруг Трои загремят кровавой брани споры,
И царства целые он в песнь свою вместит.
Глава поэта — мир; в ней все, земля и небо;
И все животворит он, вдохновенный Фебом.

Налицо в поэме Гнедича и антитеза — поэт и толпа, которая наполнилась позднее у Кюхельбекера таким вызывающим политическим смыслом; так же, как и Кюхельбекер, Гнедич усматривает причины ненависти к Гомеру в зависти «сильных мира сего»:

Не скрылся и Гомер от зависти людей.
Немолчной славою, гремящей по вселенной,
Он гордость уязвил и сильных и царей.

И, конечно, в борьбе поэта с «сильными» и «царями» побеждает поэт:

Но злоба тщетная! безумный гнев людей!
Меж тем как варвары, беснуясь в сонме диком,
Пронзали небеса их богохульным криком,
Царь света шествовал блистательной стезей
И волны проливал своих лучей священных
На мрачную толпу ругателей презренных!

Гений поэта — это антипод рабства, «пламенная песнь» Гомера зовет бороться за свободу его родины:

Во дни, как в плен рабы падет сия страна,
В ней будет ветер шептать героев имена;
Их тени населят леса, долины, горы;
И тот, чья будет грудь любовью полна
Ко славе, обратит к стране священной взоры,
Где вольность в первый раз зажжет людей сердца,
Где столько за нее бессмертных грянет боев;
И возбужденный он примерами героев
И песнью пламенной Ахиллова певца,
Дерзнет на варваров за Греции народы;
И полетит — мечом им добывать свободы!

На первый взгляд в «Рождении Гомера» нет прямых переключек с современностью. И все же несомненно, что его автор выступает в этом произведении как друг, единомышленник и даже наставник поэтов-декабристов. Мы понимаем, почему именно Гнедичу выпало стать в русской литературе 10—20-х годов XIX века своеобразным апостолом гражданской темы, автором знаменитой речи о цели и назначении искусства, прочитанной в Вольном обществе любителей российской словесности 13 июня 1821 года¹. Становится ясно, почему Вяземский особенно интересовался, «угодил» ли он Гнедичу своим «Негодованием», почему Рылеев не решался печатать свою первую думу «Курбский» без одобрения «почтенного Николая Ивановича» и почему он посвятил Гнедичу думу «Державин», с наибольшей полнотой воплотившую его взгляды на роль поэта и поэзии.

Не случайно и то, что о проблемах, актуальность которых для своего времени превосходно осознавалась Гнедичем, он говорит в поэме на античный сюжет. Причины этого явления были охарактеризованы Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», где он говорил о деятелях, которые «осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени». «Освященный древностью наряд» служил им — как и Гнедичу — «для возвеличения новой борьбы»², это возвышало в сознании современников значение тех проблем, которым он посвятил свою поэму.

¹ Подробно об этой речи см.: И. Н. Медведева. Гнедич и декабристы. — В сб. «Декабристы и их время». М. — Л., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 129—135.

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 119—121.

Чем больше значение поэзии, чем сильнее ее воздействие на умы, тем выше ответственность поэта. Понимание поэзии как средства исправления социальных пороков, а поэта — как целителя общественных язв пронизывает декабристскую эстетику. Нетрудно заметить, что декабристы порой переоценивали возможности искусства, требуя от него больше, чем оно могло дать. Это не удивительно: ведь они оставались идеалистами в понимании общественной жизни. Стремление извлечь из художественного произведения немедленную и ощутимую пользу в реализации своей политической программы наложило отпечаток на подход декабристов к оценке отдельных писателей и произведений. Стихи или поэмы, предмет которых не был достаточно «высоким», вызывали критическое отношение, порой доходившее до отказа такому произведению в праве считаться поэзией. Характерно, что Кюхельбекер в уже упоминавшейся статье «О направлении нашей поэзии...» авторов интимных, камерных элегий и посланий даже поэтами не называет, а уничижительно именует «стихотворцами».

«...Ужели это поэзия?» — спрашивал Кюхельбекер, прочитав первую главу «Евгения Онегина». Подобного же мнения был Бестужев. «...Дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? — писал он Пушкину. — Поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты?»

Подобные претензии не могут быть объяснены ни «разницей вкусов», ни даже непониманием высот пушкинского реализма, которое бесспорно проявили критики поэта. И Кюхельбекер, и Бестужев считали, что «Евгений Онегин» непригоден для решения тех задач, которые, по их мнению, стояли перед поэзией. Многозначительную реплику бросил Вяземский, прочитав «Полярную звезду» за 1824 год: «Стихи Пушкина прелесть! точно свежий, сочный, душистый персик! Но мало в них питательного...».

Горячо одоббив «Цыган», Рылеев тем не менее счел, что «характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он медведя и собирает вольную дань? — упрекал он Пушкина. — Не лучше ли б было сделать его кузнецом». Современный исследователь обоснованно полагает, что в этом упреке может крыться более глубокий смысл, чем это кажется на первый взгляд: «Думаем, что в сознании

Рылеева мелькал не просто кузнец, как бытовой образ, а кузнец-мститель, воспетый в народных песнях и в песне «Как шел кузнец» самого Рылеева... Наивно думать, что Рылеев желал видеть Алеко непременно в кузнице. В дружеской переписке Рылеев и Пушкин часто прибегали к недомолвкам. Рылеевский кузнец — намек на затянувшийся спор о романтическом герое... Алеко, безусловно, мятежный герой, но его мятежность носит стихийный характер. Алеко недостает революционного дела»¹.

Характерна и эволюция в отношении декабристов к Баратынскому. В первые годы его творческого пути они оценивали его очень высоко. Репутация «гонимого поэта», томящегося в «финской ссылке», антиправительственные высказывания, которые им не раз доводилось слышать из его уст, — все это, казалось, позволяло рассчитывать, что его творчество будет полностью соответствовать требованиям декабристской эстетики. Рылеев и Бестужев не только охотно печатали Баратынского в «Полярной звезде», но и взялись подготовить и выпустить в свет первое собрание его стихотворений. Вместе с тем они всячески побуждали поэта к выбору свободолюбивых, гражданских тем, пытались привлечь его к коллективному переводу тираноборческой трагедии Александра Гиро «Маккавей».

Но по мере того как определялась та «особая дорога», которую избрал для себя автор «Эды», декабристы все более охладевали к нему. Намеченное издание стихотворений Баратынского не было ими осуществлено, а в начале 1825 года Бестужев решительно заявил, что «перестал веровать в его талант».

Михаил Орлов произнес однажды слова, в которых правомерно видеть краеугольный камень декабристской эстетики: «Вся сила моего слова заключается в справедливости моей мысли». Именно — «вся»! Справедливость мысли — то единственное, к чему, по убеждению декабристов, должен стремиться художник, единственное, что определяет ценность и нужность его произведений. «В слогe моем есть недоделанность, — замечал Вяземский, — но там, где говорит душа, там в речи моей есть

¹ В. Г. Б а з а н о в. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М. — Л., Гослитиздат, 1961, стр. 214—215.

полнота чувства: в этом я уверен и этим удовольствуюсь». То же противопоставление, но еще более энергично и заостренно выразил Рылеев, когда писал о своих стихах:

Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства, —
Я не Поэт, а Гражданин.

(«А. А. Бестужеву»)

«Живые чувства», «гражданственность» ставились превыше «искусства», красот формы, самой тщательной «доделанности» слога. Они ставились превыше всего.

Поэзия декабристов знаменовала собой новый этап литературы. Но, как это бывает обычно, новое возникло не на голом месте. Субъективно декабристы ощущали себя продолжателями традиций гражданской поэзии XVIII века, в которой нашли для себя много близкого и созвучного своим творческим устремлениям. Однако в действительности попытки воскресить в новых условиях гражданскую литературу XVIII столетия, выдвинуть «нового Ломоносова», «нового Державина» дали результат более сложный.

В гражданском классицизме декабристов привлекала склонность к постановке широких, общественно значимых проблем, стремление «поучать» художественным словом, использовать его для пропаганды передовых идеалов, особенно патриотизма, служения отечеству. Импонировали декабристам и «витийственные» жанры предыдущего столетия: ода, гимн, историческая драма, монументальная поэма-эпопея.

Но революционность декабристов, пронизывающий их творчество пафос борьбы с самодержавием вели к тому, что их произведения по своему смыслу резко отличались от произведений Ломоносова или Державина, отличались в еще большей степени, чем сами декабристы могли это осознать. Патриотизм Ломоносова и Державина был патриотизмом поэтов, неразрывно связанных с официальной, самодержавной Россией, и любое выступление, направленное на подрыв существующих в ней порядков, было, разумеется, в их глазах деянием антипатриотическим. Для декабристов — наоборот: патриотизм неотделим от свободолюбия и даже революционности. Спасение отечества, утверждал Бестужев-Рю-

мин, зависит от любви к свободе. Патриотом может называться лишь борец против тиранов, угнетающих его родину. Патриотизм — в верности подлинно национальным традициям вольного Новгорода, вольного Пскова, в борьбе против самодержавия как явления, чуждого духу и нравам русского народа.

Вслед за поэтами XVIII века декабристы выступали поборниками просвещения, но и это слово приобретало в их устах принципиально иной смысл. Просвещение неразрывно связано для декабристов с политическим освобождением, с борьбой против рабства. «Человек от деспотизма стремится к свободе; причиною тому просвещение», — писал Рылеев. Особенно подробно он рассматривал этот вопрос в первой (неопубликованной) редакции предисловия к «Думам». «...Один деспотизм боится просвещения, — заявлял поэт, — ибо знает, что лучшая подпора его — невежество». Подлинный смысл, который декабристы вкладывали в слово «просвещение», настолько отличался от принятого в XVIII веке, что порой, например в уставе Союза благоденствия, они сами подчеркивали это отличие, проповедуя не просто просвещение, но «истинное просвещение».

Отличия были не только в социальной программе, но и в художественном видении мира, в подходе к действительности и к человеку как к предмету изображения в поэзии. «Рационализм, — напоминает советская исследовательница Л. Я. Гинзбург, — расчленял человека и его душевную жизнь на отдельные свойства, страсти, способности. Рационалистически-аналитическая концепция человека тесно связана с иерархическим и жанровым мышлением в искусстве. Разные жанры выражают разные и сосуществующие аспекты действительности, расчлененной разумом. Разного качества стили прикреплены к искусственно разделенным и замкнутым сферам бытия. И прежде всего отделены друг от друга политическое лицо и частный человек с его частными переживаниями и чувствами. Этим определялось основное для лирики классицизма разделение на оду и элегию»¹. Де-

¹ Л. Я. Гинзбург. О проблеме народности и личности в поэзии декабристов. — В сб. «О русском реализме XIX века и проблемах народности литературы». М.—Л., Гослитиздат, 1960, стр. 78.

кабристы не отбрасывают эту аналитическую концепцию человека без остатка, но трансформируют, обновляют ее. «...Осознавая свои идеалы в отвлеченных категориях рационалистической философии, требовавших безусловно подавления всего личного во имя долга, декабристы *переживали* их романтически остро: не как холодные веления разума, а как жгучую потребность сердца»¹. Этим определялись изменения в жанровой системе декабристской поэзии, не только в функциях отдельных жанров, но и в их связях и взаимоотношениях.

В системе классицизма категории высокого и низкого были замкнуты и принципиально отъединены друг от друга. То, что уместно в трагедии, неприемлемо в басне. Возможности взаимопроникновения жанровых признаков, обогащения одного жанра за счет другого здесь минимальны, хотя они имеют место в творческой практике. Но уже у предшественника декабристов В. В. Капниста мы видим такой жанр, как элегическая ода. Это — знамение новой жанровой системы, нового подхода и к проблеме лирического жанра, и вообще к изображению человека, его душевного мира и характера в лирической поэзии.

О жанровом своеобразии декабристской поэзии речь впереди. Здесь же напомним одно сугубо важное положение. Критерий при определении высокого, заслуживающего место на литературной авансцене, и низкого, обреченного на прозябание на периферии и даже вообще находящегося за границами поэзии, в декабристской эстетике один — цель, которую ставит перед собой поэт. Высокая цель (активное воздействие на нравы, сознательное служение передовым идеалам) делает «высоким» любой жанр. «Подблюдные» песни Рылеева и Бестужева под этим углом зрения высокая поэзия, а «Евгений Онегин» — нет. Однако декабристы не всегда считались с тем фактом, что «высокая» поэзия в процессе своего становления и эволюции испытывает значительное воздействие «невысоких», периферийных родов литературы, традиции и достижения которых охотно переосмысливает в духе собственных эстетических и политических установок.

¹ А. М. Гуревич. Романтики или «классики»? — «Вопросы литературы», 1966, № 2, стр. 157.

Если судить о декабристской поэзии не по декларациям ее создателей, а по объективным итогам их творчества, становится ясно, что она вырастала не только из гражданской литературы XVIII века, которую они пропагандировали и восхваляли, но и из поэзии школы Карамзина — Жуковского, которую они порой недооценивали, порой отвергали, порой третировали. Только тогда прояснится все богатство декабристского романтизма, его место в русском и европейском романтическом движении.

„ЛЮБОВЬ ЛИ ПЕТЬ,

ГДЕ БРЫЗЖЕТ КРОВЬ“

О русском романтизме начала XIX века, в том числе о романтизме декабристов, написано много, но нет единства в подходе к этому сложному явлению. Один из вопросов, вызывающих разногласия и споры, — это появление русского романтизма, как иногда говорят, «в неподходящее время». «...Хорошо известно, что романтизм — явление послереволюционное, порожденное эпохой реакции, выражение глубочайшей общественной и идеологической депрессии... Казалось бы, в России, переживавшей в 1810—1820-е годы общенациональный подъем, шедшей навстречу первому революционному выступлению, не могло быть благоприятной почвы для возникновения романтических настроений»¹.

В действительности, русский романтизм, как и романтизм европейский, был явлением послереволюционным, потому что на него существенно повлияли идеи, последствия, уроки Французской революции. Ее резонанс звучал долго и далеко за пределами Франции. «Иенские» и «гейдельбергские» романтики, Берне и Гейне — в Германии, поэты «озерной школы», Байрон, Шелли, Китс — в Англии, Грильпарцер и Ленау — в Австрии, Леопарди — в Италии — романтизм всех этих поэтов был «послереволюционным», хотя не их страны стали родиной революции.

¹ А. М. Гуревич. Романтики или «классики»? , стр. 151.

Россия не была отгорожена от бурь, потрясавших социальную и идейную жизнь Европы. Иное дело, что русский романтизм отразил не только общеевропейское, но и национально неповторимое начало, что на него наложили отпечаток особенности русской истории. Но учет этих факторов не имеет ничего общего с попытками отъединить развитие нашей литературы начала века от того идейного и художественного контекста, в котором она сформировалась и росла. Есть что-то глубоко характерное в факте, что Жуковский, которого Белинский назвал «Коломбом» русского романтизма, вошел в историю нашей литературы и как крупнейший переводчик, сказавший о себе со скромностью и достоинством: «...У меня почти все чужое... и все, однако, мое». Он был и проводником европейских идей в России, и человеком, сказавшим свое, нужное его родине, своевременное слово. Слово, которое было воспринято не только его прямыми последователями, но и другой ветвью русского романтизма — гражданской, декабристской поэзией.

И это естественно. Поэтическая школа, лозунгом которой были слова «все для души», зародилась как оппозиционное литературное направление, представители которого отказывались воспевать официальных кумиров. Известная державинская формула:

Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь, —

(«К лире»)

провозглашала независимость от высокопоставленных меценатов, от самодержавного правительства, от предписанных «сверху» поэтических «предметов». В этом была ее привлекательность для Капниста, Батюшкова, молодого Вяземского, лицейского Пушкина. Когда Пушкин писал в одном из своих ранних посланий:

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести стрóf.

(«Князю А. М. Горчакову»)

и далее:

Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить, —

то само упоминание жанра оды приобретает острый полемический смысл. Ода — здесь синоним придворной, верноподданной поэзии, низкопоклонства, «напыщенных стихов», «набора громкозвучных слов» и внутренней пустоты.

Оппозиционность гражданского романтизма, перешедшая в революционность в поэтическом творчестве декабристов, была явлением качественно иным в сравнении с той проповедью независимости поэзии и поэта, которую отстаивали Карамзин и Жуковский. Но в попытках создания нового поэты-декабристы исходили из того, что было сделано до них, усваивали достижения своих предшественников — в том числе и Жуковского. Они учились у Жуковского и в 10-е годы XIX века, когда считали его художником, идейно близким себе, близким настолько, что в 1819 году предложили ему вступить в тайное общество. В 1820 году Кюхельбекер избрал стихи Жуковского эпиграфом к стихотворению «Поэты», спустя два года, посвящая ему поэму «Кассандра», обратился к нему как к учителю с проникновенным признанием:

В уединеньи сладком возрастая,
В твой голос вслушалась душа моя;
И се! вдруг оперилась молодая:
Тобой впервые стал Поэтом я!

И Кюхельбекер, и Рылеев, и другие поэты-декабристы продолжали учиться у Жуковского и позднее, когда стали резко критиковать его поэзию (Кюхельбекер высмеивал Жуковского и его школу в статье «О направлении нашей поэзии», а Рылеев заявлял, что влияние Жуковского на дух русской словесности «было слишком пагубно», что стихи Жуковского «растлили многих и много зла наделали»).

Глубинная сущность поэзии Жуковского, состоящая в стремлении души к мечтательному миру от земных сует (об этом точно и емко говорилось в пушкинском послании «Жуковскому», 1818), никогда не стала чужда декабристам: в 1825 году Бестужев хвалил те места «Евгения Онегина», где, по его словам, «мечта уносит поэта из прозы описываемого общества», а Рылеев провозглашал, что истинный поэт тот, «кого с земли восторг души уносит».

Пушкин, конечно, оценивал положение вернее и глубже, когда возражал против «строгих приговоров», которые декабристы склонны были выносить Жуковскому: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей?» — писал он, явственно давая понять, что Жуковский «вскормил» не только его, Пушкина, но и их, поэтов-декабристов.

Тихое уныние, скорбь о непрочности земного счастья, стремление возвыситься душой над злом, царящим в мире, — все эти мотивы, столь неразрывно слитые в нашем представлении с поэтическим обликом Жуковского, можно видеть и у Владимира Раевского, и у Кюхельбекера, и у других декабристских поэтов. И, конечно, в этом не следует видеть лишь элементы литературной учебы или влияния школы, которая занимала в свое время ведущее положение в русском романтизме. Это явление могло иметь место лишь потому, что существовала известная общность в самих основах эстетики обеих школ, в предлагаемом ими решении вопроса об отношении искусства к действительности.

И для той и для другой подлинная тема и подлинное содержание искусства — душа, помыслы и стремления чувствующей личности, а не объективная действительность, определяющая эту личность со всеми ее помыслами и чувствами. Главное — не изображение реальной жизни, а цель, которая достигается этим изображением, идея, которую это изображение эмоционально аргументирует.

Пушкину эти вопросы представлялись в ином свете. «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? — восклицал он. — Вот на! Цель поэзии — поэзия...». Но кто же интересовался целью пушкинской поэмы? Не Рылеев и не Бестужев, а Жуковский! И заявляя Жуковскому о своем неприятии «целящей» поэзии, Пушкин помянул при этом и *Рылеева*, думы которого «и целят, а все не в попад». «Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое...» — подобный упрек Пушкин мог бы услышать от любого из своих друзей-декабристов. Но он услышал его от Жуковского...

Не был чужд Жуковскому и утилитарный подход к искусству, убеждение в том, что поэзия должна приносить пользу. Вспомним, что «редактируя» «Памятник», он приписал Пушкину и такую заслугу:

...Прелестью живой стихов я был полезен.

Различие обеих школ начиналось тогда, когда выяснялось, какое реальное содержание вкладывается в понятие пользы, приносимой стихом, какую цель должен, а какую не должен ставить перед собой поэт.

Те антагонизмы, те диссонансы действительности, которые поэтам психологического романтизма представлялись вечными, исконно присущими бытию, осознаются гражданскими романтиками как следствия пороков и дисгармонии окружающего общества, социальной действительности. Романтическая скорбь как бы получает конкретный социальный адресат, получает опору в реальных фактах, происходящих в самодержавно-крепостнической России, иными словами, получает подоснову, какой она не имела у Жуковского и поэтов его школы.

Вот элегия В. Раевского «Раздался звон глухой... Я слышу скорбный глас». И ее тема — безвременная кончина юноши, и многие особенности ее словаря и стиля указывают на родство этого стихотворения с поэзией психологических романтиков. Но вместе с тем в этой элегии в полный голос заявляет о себе новый подход к изображению трагического события, новое осмысление жизни, новая философия.

Раздался звон глухой... Я слышу скорбный глас,
Песнь погребальную вдали протяжным хором,
И гроб, предшествуем бесчувственным собором.
Увы! То юноша предвременно угас!

Для Жуковского и поэтов его школы обращение к такой теме неразрывно связывалось с проповедью смирения, с призывами склониться перед неизбежным, безгласно принять его, не омрачая душу бессмысленным, тщетным ропотом, оправдать жизнь в ее несовершенстве:

Но мы... смотря, как наше счастье тленно,
Мы жизнь свою дерзнем ли презирать?
О нет, главу подставивши смиренно,
Чтоб ношу бед от промысла принять,
Себя отдав руке неоткровенной,
Не мни творца, страдалец, вопрошать;
Слепцом иди к концу стези ужасной...
В последний час слепцу все будет ясно.

*(«На кончину ее величества
королевы Виртембергской»)*

Но у Раевского эта тема получала иное, можно сказать, противоположное развитие. Поэт не хочет смиренно

подставлять главу под ношу бед. Он «вопрошает творца»:

Где стройность дивная в цепи круговращения?
Где ж истинный закон природы, путь прямой?
Здесь юноша исчез, там старец век другой,
Полмертв и полужив, средь мрачного забвенья,
Живет, не чувствуя ни скорби, ни веселья...
Здесь добродетельный, гонимый злой судьбой,
Пристанища себе от бури и ненастья
В могиле ждет одной...
Злодей средь роскоши, рабынь и любострастья,
С убитой совестью не знает скорби злой...

Отсюда — один шаг до обвинения и других злодеев, до обличения тех, кто злодеям покровительствует, до того чтобы вскрыть преступную сущность «злодейских» порядков:

Почто разврат, корысть, тиранство ставят трон
На гибели добра, невинности, покою?
Почто несчастных жертв струится кровь рекою
И сирых и вдовиц не умолкает стон?
Убийца покровен правительства рукою,
И суеверие омывшись в крови,
Безвинного на казнь кровавою стезею
Влечет, читая гимн смиренности и любви!..
Землетрясения, убийства и пожары,
Болезни, нищету и язвы лютой кары
Кто в мире произвесть устроенном возмог?
Ужель творец добра, ужели сильный бог?..

Очевидно, что эти вопросы призваны подвести читателя лишь к одному, определенному ответу. Нет, не бог, «творец добра» «производит» все эти несчастья и несправедливости. В них виновны люди — убийцы и покрывающее убийц преступное и лицемерное правительство.

Но каков же в таких условиях долг человека, долг гражданина, долг поэта? Раевский ответил на этот вопрос в одном из самых сильных и совершенных своих стихотворений, завоевавших огромную популярность не только как исповедь борца, но и как творческая декларация декабриста. Это послание «К друзьям в Кишинев».

Заключенный в Тираспольской крепости поэт обращается к своим знакомым и единомышленникам, оставшимся на свободе. На свободе? Нет, человек, живущий в бесправии самодержавной России, под гнетом царских

сатрапов, не может быть на свободе! Его жизнь — нечто среднее между свободой и тюрьмой. Вы, говорит Раевский своим друзьям, «в *полусвободной* доле». Вы лишены еще не всех радостей жизни.

Но рядом с вашей «полусвободой», с вашим зыбким благополучием существует иной мир, где власть произвола, лжи, лицемерия и насилия беспредельна. Там царит «черный трибунал», глухой к «правде обнаженной», называющий «голос смелый» «тайным мятежом». Там «жизнь лютее смерти злой», там «слышны звуки ||Подземных стонов и цепей|| И вопли потаенной муки».

И Раевский обращается к Пушкину с призывом оставить «розовые уста» «волшебниц милых», воззвать стихом своим к борьбе, к освобождению и «жертв зверской власти», и тех, кто «еще в полусвободной доле»:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шопотом роптать.
Пора, друзья!

Проповедь аскетического самоограничения, отказа от любви и радостей жизни во имя борьбы за свободу пронизывает и зрелое творчество Рылеева. Важнейшая черта «гражданина» — это неспособность «влачить свой век молодой» «в объятьях сладострастья». Юноши, находящиеся «в объятьях праздной неги», не постигают «предназначенье века»

И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.

«Бедствия своей отчизны» им безразличны. Взаимоисключение любви и политической борьбы; чувства и долга наиболее решительно и непримиримо провозглашено в известных строках:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет, —
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

(«Ты посетить, мой друг, желала»)

Подобные декларации проливают дополнительный свет на то, почему для их авторов оказались неприемлемы Жуковский и его школа. В сущности, есть внутренняя связь между рылеевским призывом отказаться от любви во имя борьбы за свободу и его же утверждением, что стихи Жуковского «растлили многих». Для воспитания того поколения самоотверженных борцов, каких хотел видеть Рылеев, стихи Жуковского не годились. Но была и другая точка зрения, согласно которой творческие принципы Жуковского должны быть не отброшены, а развиты гражданским романтизмом. Это мнение отстаивал, в частности, Вяземский, творчество которого в конце 10-х — начале 20-х годов было плотью от плоти декабристской поэзии¹.

Любопытно, что Вяземский и, вероятно, не один Вяземский считал, что Жуковский сам обратится к гражданской теме, и горячо убеждал его сделать это: «Полно тебе нежиться на облаках, спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование — вот современное вдохновение». Жуковский, как известно, не последовал этим призывам, но показателен сам факт, что они имели место.

А. И. Тургенев, не разделявший надежд, возлагавшихся Вяземским на Жуковского, пытался переубедить своего друга: «...Не надобно на Жуковского смотреть из одной только точки зрения, с которой ты на него смотришь, — гражданского песнопевца. У него *все для души*: душа его в таланте его, и талант в душе». Но в глазах Вяземского «гражданское песнопение» было не чем иным, как продолжением и логическим завершением принципа «все для души». Он выразил это с предельной ясностью и категоричностью в ответном письме к Тургеневу: «И конечно, у Жуковского все душа, и все для души, — писал он. — Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убийства

¹ См. об этом Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов. — Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 98. Труды по русской и славянской филологии, т. 3, Тарту, 1960, стр. 24—142.

народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии. Шиллер гремел в пользу притесненных; Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими. Делать теперь нечего. Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах».

Творческую реализацию этих принципов позволяют видеть стихи Вяземского «Уныние» и «Негодование». Второе из них, в известной степени продолжающее первое, принадлежит к числу самых острых и политически непримиримых явлений декабристской поэзии. Известно, что в доносе, поданном в III отделение, «Негодование» определялось как «катехизис заговорщиков», т. е. декабристов. Исследователи обоснованно сопоставляли «Негодование» с сатирой Рылеева «К временщику», с гражданской лирикой Раевского. В одном из писем А. И. Тургенева к Вяземскому сообщается занятный и показательный факт: «Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, переписать твое «Негодование». В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. «Дрожь берет при одном чтении, — сказал он, — не угодно ли вам поручить писать другому?»

«Уныние» подобного трепета не внушало. Но общность обоих стихотворений несомненна и заслуживает внимания.

Уныние! вернейший друг души!
С которым я делю печаль и радость,
Ты легким сумраком мою одело младость,
И расцвела весна моя в тиши.

Каждое слово этой строфы, этого меланхолического и вместе с тем возвышенного панегирика унынию говорит о родстве с поэзией психологического романтизма, со столь характерными для последователей Жуковского призывами уйти от тягот и несправедливости бытия в уединение, в себя, в свой мечтательный мир. Но в чем источник грустных размышлений поэта, что «крепило» его союз с унынием? Этим источником явилось глубокое разочарование в той действительности, которая предстала его взору — взору человека и гражданина. Он предпочитает одиночество, потому что ему отвратительна

мысль участвовать в борьбе за карьеру, почести и богатство, в которой погрязло окружающее общество.

Наследство благ земных холодным оком зрю.
Пойду ль на поприще позорных состязаний
Толпы презрительной соперником, в бою
Оспоривать успех, цель низких упований?

Слава не оправдала честолюбивых надежд поэта, который когда-то «уповал пожать бессмертья жатву||И яркою браздой прорезать мглу веков». Но она помогла ему определить достойную жизненную позицию:

Но слава не вотще мне голос подала!
Она вдохнула мне свободную отвагу,
Святую ненависть к бесчестному зажгла —
И чистую любовь к изящному и благу.

Болтливые молвы не требуя похвал,
Я подвиг бытия означил тесным кругом;
Пред алтарем души в смиреньи клятву дал
Тирану быть врагом и жертве верным другом.

Эта клятва, данная *«пред алтарем души»*, — символ единения интимного, личного начала с гражданским, общественным и даже витийственным. Ничего не поймет в «Унынии» читатель, который усмотрит в стиле этого стихотворения сочетание двух различных лексических и образных пластов, восходящих к психологическому и гражданскому романтизму. Все дело в том, что гражданская тема не противостоит для Вяземского элегическому раздумью «в тиши», а выступает как его естественное содержание. Гражданская декларация возникает не в результате самоограничения и отвержения личного, интимного начала как ненужного или несвоевременного, а как выражение требований души.

Несравненно более острые в политическом отношении строфы «Негодования» тоже родились «на алтаре души». Познание жизни, ее обманов, разоблачение «льстивых лжебогов» приводит поэта к потребности избрать своим Аполлоном негодование. Негодование — неотъемлемая часть его жизни, его души, его внутреннего «я».

Зародыш лучшего, что я в себе храню,
Встревоженный тобой, от сна встаю
И, благородною отвагою кипящий,
В волненьи бодром познаю
Могущество души и цену бытию.

Всех помыслов моих виновник и свидетель,
Ты от немой меня бесчувственности спас;
В молчании всех страстей меня твой будит глас:
Ты мне и жизнь и добродетель!

Убийственная прямота и беспощадность, с которой Вяземский исполняет свое решение поразить «карающим стихом» «грязную их братью», положить «на их главу клеймо презренья», приобретает особую силу от того, что читатель видит в них глубокое и сильное влияние чувства, переполняющего душу поэта.

Насильством прихоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство председит в собрании вельмож.
Отцов народов зрел господствующих страхом,
Советницей владык — губительную лесть;
Печальную главу посыпав скорбным прахом,
Я зрел: изгнанницей поруганную честь,
Доступным торжищам — святыню правосудья,
Служенье истине — коварства торжеством,
Законы, правоты священные орудья,
Щитом могучему и слабому ярмом...

Здесь у подножья алтаря,
Там у престола в вышнем сане
Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?

Тенденция к слиянию в поэзии гражданского, публицистического и интимного, лирического начал была близка да и не могла не быть близка Пушкину, потому что его собственное творчество дало образцы этого слияния, намного более совершенные и значительные, чем те, которые мы видели у Вяземского.

Вряд ли есть необходимость приводить многочисленные свидетельства и факты, говорящие о близости Пушкина к декабристам. Мы помним знаменитый ответ, который поэт дал Николаю I на вопрос, что он делал бы, если бы был 14 декабря в Петербурге: «Стал бы в ряды мятежников». Мы помним недописанную, но многозначительную надпись, которой Пушкин сопровождал рисунок, изображавший виселицу и казненных декабристов: «И я бы мог, как шут... (?), «И я бы мог, как тут... (?), «И я бы мог...».

Историки литературы и общественной мысли собрали обширный материал, подтверждающий, что стихи Пушкина глубоко и полно воплощали политическую про-

грамму дворянской революционности. Известно, что на этих стихах воспитывалось поколение, бросившее в 1825 году вызов царскому самодержавию. «...В бумагах каждого из действовавших (т. е. участников восстания. — Л. Ф.) — находятся стихи твои», — писал Жуковский Пушкину во время следствия над декабристами. И позднее, борясь с вольномыслием молодого поколения, «разбуженного» декабристами, николаевские жандармы постоянно сталкивались с новыми списками уже хорошо знакомых им произведений. «Что же касается до сочинений вольных Пушкина или выданных под его именем, — доносил один из них своему начальству, — то они у редкого студента не находятся»¹.

Вместе с тем предпринимаемые иногда попытки представить Пушкина идеологом декабризма упрощают существо вопроса. Творчество Пушкина всегда оставалось шире того круга представлений об искусстве и тех требований к нему, которые пропагандировала декабристская эстетика. Пушкин не уступал никому из декабристов в идейности и общественной направленности своих произведений, но ему были чужды те ограничения, которые порой накладывали на себя декабристы, тот прагматизм, с которым они склонны были подходить к анализу явлений искусства. Потому восторженные отзывы об одних произведениях Пушкина чередовались в устах его друзей — членов тайных обществ с недовольством другими.

Декабристам хотелось «направлять» творчество Пушкина. Это не выходило. Раевский призывал его: «Оставь другим певцам любовь...» Пушкин не внял его призыву. «...Не ленись, — поучал Пушкина Рылеев, — ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы». Пушкин оставил эту землю без поэмы. Около Пскова он написал «Разговор книгопродавца с поэтом» и «Ненастный день потух», «Сожженное письмо» и «Андрея Шенье», «Заступники кнута и плети» и «В крови горит огонь желанья», «19 октября» и «Зимний вечер», «Воображаемый разговор

¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции, ф. 295 (III Отделение), 1 экспедиция, ед. хр. 126, л. 39.

с Александром I» и «Графа Нулина». Там создавался «Евгений Онегин».

Пожелание Рылеева, чтобы Пушкин сделал Алеко кузнецом, существенно и характерно: оно отразило важные стороны декабристского отношения к поэзии. Но не менее характерно, что Пушкин это пожелание насмешливо отверг.

Среди незавершенных произведений и набросков кишиневского периода есть прекрасное и загадочное стихотворение — послание В. Ф. Раевскому «Не тем горжусь я, мой певец». Пушкин отказывается видеть свою заслугу в созданной им любовной лирике:

Не тем горжусь, что иногда
Мои коварные напевы
Смиряли в мыслях юной девы
Волнение страха и стыда.

Не видит он ее и в гражданских, обличительных произведениях, в расправах над социальным злом, которые творил в его руках «Ювеналов бич»:

Не тем, что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил,
И что грозящий голос лиры
Неправду в ужас приводил.

Как развил бы Пушкин далее свою поэтическую исповедь, можно только догадываться. Но одно мы имеем право сказать с уверенностью: он выступает здесь против любой односторонности в подходе к целям поэзии и против тех, кто звал воспевать любовные утехы в сельском уединении, и против тех, кто хотел бы ограничиться лишь политической темой:

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена —
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна!..

...Спустя четверть века Гоголь скажет глубокие и справедливые слова, которые нельзя не вспомнить, характеризуя дискуссии Пушкина с декабристами: «Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его».

„НОВАЯ ТРОПА

В РУССКОМ

СТИХОТВОРСТВЕ“

Уже несколько раз по разным поводам нам доводилось обращаться к статье Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Это не случайно. Статья, о которой идет речь, представляет собой одно из самых ярких и своеобразных явлений в русской критике и эстетике. Напечатанная в 1824 году в альманахе «Мнемозина», она привлекла к себе всеобщее внимание и вызвала оживленную полемику. Многим пришлось по душе содержащиеся в статье Кюхельбекера осуждение подражательной, эпигонской поэзии, борьба за национальную самобытность литературы, за обращение писателей к большим, общественно значимым темам. Но Кюхельбекер связал решение этих вопросов с неоправданным выдвижением одних лирических жанров за счет других, что вызвало обоснованные возражения у его современников, в частности у Пушкина.

Корень всех зол состоял для Кюхельбекера в том, что «элегия и послание у нас вытеснили оду». Между тем, по его мнению, лишь она дает писателю возможность для «сильного, свободного, вдохновенного изложения» его чувств: «прочие же роды стихотворческого изложения собственных чувств — или подчиняют оные повествованию, как то гимн, а еще более баллада и, следовательно, переходят в поэзию эпическую; или же ничтожностью самого предмета налагают на гений оковы, гасят огонь его вдохновения». Последняя характеристика относилась к элегии и посланию: «Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчастиях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, что — слава богу! — здоровы и страх как жалеют, что так давно не видались!»

Претензии к этим жанрам не были лишены основания. Но слабость позиции Кюхельбекера состояла в том,

что каждый жанр представлялся ему явлением статичным и неизменным: он имеет свои, незыблемые пределы и ограничен присущим лишь ему кругом тем и образных средств. Кюхельбекер недостаточно учитывал подвижность межжанровых границ, способность разных жанров взаимодействовать друг с другом и обогащаться таким путем. Его борьба против элегии и послания в защиту оды была, по существу, борьбой за идейность литературы, за достойные своего времени «высокие» предметы вдохновения. Но ради этого не стоило изгонять «с русского Парнаса» ни элегию, ни послание. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что ко времени появления статьи Кюхельбекера была практически доказана способность любого жанра воплощать «высокое» содержание, служить обличению тиранов и рабов, выполнять агитационные функции. И доказана она была не кем иным, как друзьями и соратниками автора статьи «О направлении нашей поэзии» — поэтами-декабристами.

Разве не Раевский уже в 1817—1820 годах создал элегии, столь явственно пронизанные революционными настроениями, что они привлекли пристальное внимание Военно-судной комиссии, перед которой предстал их автор? За ними последовал ряд других политически острых произведений этого жанра, эволюция которого приведет вскоре к появлению элегий Языкова «Свободы гордой вдохновенье», «Еще молчит гроза народа» и «Андрею Шенье» Пушкина.

Насыщается взрывчатым, открыто агитационным содержанием и послание. Вспомним хотя бы стихи Раевского «К друзьям в Кишинев», Кюхельбекера «К Пушкину», «А. П. Ермолову», «Грибоедову», «К Вяземскому», Пушкина «Чаадаеву» и многие другие.

С историей декабристской баллады, в частности с творческими экспериментами Катенина, связаны первые и значительные успехи в создании поэзии, ориентированной на национальные традиции, на русский быт и фольклор, на сближение поэтической речи с народной. В условиях, когда патриотизм и гражданственность являли собой для передовой России единое и нерасторжимое целое, борьба за национальную литературу была в то же время борьбой за утверждение прогрессивных общественных идеалов.

Да и ода, которую Кюхельбекеру хотелось видеть повелительницей русского Парнаса, разве была она похожа на творения Петрова или Шихматова, поставленных «Мнемозиной» в пример современникам? Ее образцы — «Вольность» и «Наполеон» Пушкина, «Гражданское мужество» и «Видение» Рылеева, «Пророчество» и «Смерть Байрона» Кюхельбекера.

Недооценил Кюхельбекер и того факта, что ода, даже обновленная и преобразованная, не могла полностью удовлетворить потребность в поэзии агитационной, воспитующей, активно воздействующей на нравы. Ощущалась необходимость не только в модернизации старых, но и в создании новых жанров, специально приспособленных для решения этих задач. Таким жанром стала, в частности, рылеевская *дума*.

Сама структура этого лирического вида, его недолгая, но богатая примечательными событиями история проливает дополнительный свет на сущность декабристской эстетики, на сильные и слабые стороны литературной программы дворянских революционеров.

Разумеется, этот жанр возник не на голом месте: он имел истоки и фольклорные, и литературные. Как напоминал сам Рылеев, дума — «старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение... Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих: Дорошенке, Нечае, Сагайдачном, Палее...». Значительное влияние на думу оказала трагедия XVIII — начала XIX века (Я. Б. Княжнин, В. А. Озеров, Ф. Ф. Иванов)¹. Особенно многое воспринял этот жанр от исторической, или эпической, элегии, совершенные образцы которой создал Батюшков. «...Описание места действия, речь героя — и нравовучение» — этот единый «покрой», сходное композиционное построение рылеевских дум, отмеченное Пушкиным, налицо уже в знаменитой, в своем роде образцовой элегии Батюшкова «Умиравший Тасс».

Не будучи произведением, предосудительным в глазах цензуры, «Умиравший Тасс» представлял собой вместе с тем жанровую форму, готовую для воплощения в ней оппозиционных, вольнолюбивых идей. Под явным

¹ Подробнее об этом см. А. Е. Ходоров. «Думы» К. Ф. Рылеева и трагедия XVIII — начала XIX столетия. — «Русская литература», 1972, № 2, стр. 120—126.

влиянием «Умиряющего Тасса» была написана элегия П. Габбе «Бейрон в темнице». В последней строфе, заключающей «нравоучение» — идею о грядущем торжестве поэтов, ныне обреченных быть жертвами тиранов, поминается наряду с героем элегии — Байроном и его итальянский предшественник.

А вы, о гении, лишённые приюта,
Вы, Бейрон, Дант и Тасс, герои без войны,
Для вас не создана в теперешнем минута,
Но веки в будущем даны.

Но «речь героя», монолог заключенного Байрона, гораздо острее в политическом отношении, чем исповедь Тасса, и включает строки, явно связанные с вольномыслием декабристских кругов:

Я счастлив был, когда поэзией высокой
Слезу участия мог из очей извлечь,
Исхитить из души глас совести глубокой
Иль из руки тиранской мечь.

«Бейрон в темнице» — результат эволюции батюшковской элегии в том же направлении, в котором этот жанр эволюционировал и у Рылеева. В сущности, это почти дума. Наиболее ранняя из рылеевских дум — «Курбский» — также имела в журнальной публикации подзаголовок «Элегия». Но вскоре Рылеев почувствовал, что стихи создаваемого им цикла выходят за рамки того, что он понимал под элегическим жанром, и, начиная с «Артемона Матвеева», они получают новое жанровое наименование, появившееся затем и на обложке его знаменитого сборника — «Думы».

Рылеев не делал тайны из целей, которые преследовал, создавая этот цикл. В предисловии к сборнику он формулировал их, цитируя польского поэта Ю. Немцевича: «Напомянуть юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить». С афористической точностью и глубиной разъяснил их Бестужев, заявив в «Полярной звезде»,

что «*Рылеев*, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целью возбуждать доблести сограждан подвигами предков».

Огромная популярность рылеевских дум свидетельствовала о своевременности этих произведений и действенности средств, к которым обратился поэт. Позднее, уже после выхода отдельного издания, Рылеев в письме к Пушкину, признавая слабость некоторых дум, многозначительно добавил: «Но зато убежден душевно, что Ермак, Матвеев, Воынский, Годунов и им подобные хороши и могут быть полезны не для одних детей».

Вместе с тем цель, которую ставил Рылеев перед думами, оказалась противоречива, и это наложило отпечаток на их характер, на их стиль. Чтобы возбуждать доблести сограждан подвигами предков, необходимо было изобразить эти подвиги такими, какими они были в действительности, не погрешая против исторической правды. Читатель должен был быть убежден, что перед ним не надуманные «примеры для подражания», не поучительные измышления, а прошлое его родины во всей достоверности и подлинности.

Но — с другой стороны — это изображение прошлого было рассчитано на то, чтобы вызвать определенную, заранее задуманную, намеченную автором реакцию его современников. Это была история, опрокинутая в настоящее. Рылеев не мог и не хотел изобразить героя своей думы как человека определенной эпохи, характер и образ мышления и действий которого объясняются его временем. В ином случае никакие доблести предков не могли бы служить порукой появления сходных качеств у потомков. Выходило, что герои дум должны были быть изображены *такими и в то же время не такими*, какими они были в действительности. Эти взаимоисключающие тенденции, эта противоречивость творческой задачи сказались на всей художественной структуре цикла.

Разные цели, которых призвано было достичь одно и то же произведение, мешали друг другу. Это ощущал, по-видимому, и сам Рылеев. Создавая думу «Державин», одно из важнейших, принципиальных стихотворений, заключавшее сборник, поэт стремился не только обрисовать облик Державина, каким он был или по крайней мере представлялся его мысленному взору, но и создать

образ идеального «поэта-гражданина», поборника свободы, защитника угнетенных, бестрепетного борца с произволом.

При работе над думой Рылеев использовал фрагмент, написанный им первоначально от первого лица, от собственного имени.

Горжусь к тирану я враждой,
Ярмо граждан *меня* тревожит,
Свободный славянин душой
Покорно рабствовать не может.

Эти чувства, эти качества были в первой редакции думы приписаны Державину:

К неправде *он* кипит враждой,
Ярмо граждан *его* тревожит:
Как вольный славянин душой
Он раболепствовать не может.

Но потом он, по-видимому, ощутил, что его, рылеевские, представления об идеальном поэте не соответствуют реальному облику Державина. И приведенные строки — очень сильные в агитационном отношении — были из окончательной редакции думы устранены.

Таким образом, не только воссоздание исторической действительности терпело ущерб из-за стремления сочетать ее с пропагандой гражданских идей своей эпохи, но и пропаганда гражданских идей не укладывалась в прокрустово ложе исторических сюжетов. Может быть, поэтому Рылеев скоро стал терять интерес к созданному им виду лирики. Обширный план, сохранившийся среди черновиков думы «Вадим» и включающий названия 20 намеченных стихотворений, остался нереализованным. Некоторые из фигурирующих здесь дум Рылеев начал писать, но не довел до конца, к работе над остальными, очевидно, даже не приступал.

Из дошедших до нас черновиков особенно своеобразный и любопытный материал представляют собой наброски «Меньшикова». Сначала Рылеев, видимо, намеревался писать думу о «друге мудрого Петра». Но потом стремление к более широкому, более «эпическому» воплощению образа привело к жанровым смещениям. Может быть, произведение, над которым работал Рылеев, еще не поэма, но это уже не совсем дума. Как реализо-

вался бы замысел поэта, можно лишь предполагать: работа над «Меньшиковым» осталась незавершенной. Первой и единственной поэмой, которую Рылееву довелось окончить, стал «Войнаровский».

Действие поэмы Рылеева переносит нас в прошлое, но это не то обращение к прошлому, которое мы видели в «Рождении Гомера». Для Гнедича было важно извлечь из прошлого и показать в гигантских, так сказать «гомеровских», масштабах идею, нужную и важную в его время. То, что о значении поэзии здесь говорят боги, что судьба описанного в ней поэта — судьба Гомера, что тема творений этого поэта — трагедия Трои, что победа Гомера над своими завистниками — это всемирная слава, гремевшая три тысячи лет, — все это существенные стороны произведения Гнедича. Хотя идея, которую провозглашал своей поэмой Гнедич, вне времени и не «прикреплена» ни к какой определенной эпохе, обращение к Гомеру позволяло провозгласить ее громче, с большим пафосом, чем это возможно в поэме, героем которой был бы другой, менее значительный поэт.

Основная проблема «Войнаровского» иная. Это проблема характера в соотношении с определенной исторической обстановкой. Конечно, Войнаровский, как и герои дум, воплощает современные Рылееву представления о доблести и гражданском долге. Его суждения о себе, о судьбах своей страны — более суждения декабриста, чем украинского вельможи XVIII столетия. Говорить об историзме этого образа, об обусловленности характера, миросозерцания и поступков Войнаровского его эпохой, разумеется, нельзя. В этом смысле поэма Рылеева дает богатый материал для аналогий с думами, тем более что их роднит не только общность проблематики, но и композиционное построение, пользуясь пушкинским выражением, «покрой»: здесь тоже главное содержание произведения заключает в себе «речь героя».

Но эти аналогии лишь делают более зримыми и рельефными сдвиги, которые произошли в творческом методе Рылеева при обращении к эпической поэзии. В думах определяющим фактором является личность героя, его характер, его душевные качества. Там «речь героя» посвящалась главным образом раскрытию его жизненного кредо. Он излагал свои взгляды, свои этические нормы.

Эта «речь» подводила читателя к выводу: если человек искренне, самоотверженно стремится быть полезным родине и народу, жертвует всем для блага своих сограждан, он может быть спокоен за свою участь, его усилия не окажутся тщетны.

В это свято верит Волинский:

...Тот, кто с гордыми в борьбе,
Наград не ждет и их не просит,
И, забывая о себе,
Все в жертву родине приносит.
Против тиранов лютых тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден...

И хоть падет — но будет жив
В сердцах и памяти народной
И он и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной.

Так же мыслит и Артемон Матвеев:

Когда защитник нам закон
И совесть сердца не тревожит,
Тогда ни ссылка, — думал он, —
Ни казнь позорить нас не может.
Быв другом доброго царя,
Народа русского любимец,
Всегда в душе спокоен я
И в злополучии счастливец.

Для дум характерно слияние автора с героем, в уста которого поэт вкладывает свои сокровенные мысли и убеждения. Такие герои — и Волинский, и Артемон Матвеев, и Иван Сусанин, и Богдан Хмельницкий. В «Войнаровском» — при всем горячем сочувствии, которое вызывает у Рылеева герой его поэмы, — об их слиянии все же говорить нельзя. Они по-разному смотрят на происходящее, по-разному оценивают его. Не декларации героя составляют истинное содержание поэмы, а повествование, ход событий, которым она посвящена.

Прежде чем кто-либо другой, своеобразие рылеевской поэмы заметил и оценил Пушкин. «Рылеева „Войнаровский“ несравненно лучше всех его „Дум“, — писал он, — слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти еще нет».

Завязкой поэмы служит сцена, когда Мазепа знакомит Войнаровского со своими планами («Началом бед моих была сия беседа роковая!» — восклицал впоследствии Войнаровский). Мазепа хорошо знает своего племянника и, поверяя ему «важную тайну», умело апеллирует к патриотизму и свободолюбию «Украины сына» и «прямого гражданина». Он говорит о «родной стране» и ее врагах, которых не тяготит «бремя бед народных» и не волнуют «чувства высокие». Свою борьбу с Петром он представляет как «борьбу свободы с самовластьем», спасение родины «от оков».

Скоро Войнаровскому приходится, однако, убедиться, что народ, о благе которого он помышлял, видит в Мазепе предателя. Один из пленных, захваченных казаками, так отвечает гетману на вопрос: «Что нового в стране родной?»:

Народ Петра благословлял
И, радуясь победе славной,
На стогнах шумно пировал;
Тебя ж, Мазепа, как Иуду,
Клянут украинцы повсюду;
Дворец твой, взятый на копье,
Был предан нам на расхищенье,
И имя славное твое
Теперь — и брань и поношенье!

Тогда это не изменило отношения Войнаровского к гетману: он был среди тех, кто «с участием живым» возмущались происшедшим и даже «пылали мстью»:

Он приковал к себе сердца:
Мы в нем главу народа чтили,
Мы обожали в нем отца,
Мы в нем отечество любили.

Но *теперь*, возвращаясь памятью к тому дню, Войнаровский именно в этом месте своего рассказа произносит слова, из которых явствует, что подлинные планы и замыслы Мазепы оставались неизвестны и непонятны Войнаровскому. Здесь, в ссылке, спустя много лет, он вынужден признаться:

Не знаю я, хотел ли он
Спасти от бед народ Украины
Иль в ней себе воздвигнуть трон, —
Мне гетман не открыл сей тайны.

Ко нраву хитрого вождя
Успел я в десять лет привыкнуть;
Но никогда не в силах я
Был замыслов его проникнуть.
Он скрытен был от юных дней,
И, странник, повторю: не знаю,
Что в глубине души своей
Готовил он родному краю.

Но ведь он, Войнаровский, шел за Мазепой, был его опорой, ближайшим другом и сподвижником. Если Мазепа стремился не «спасти от бед народ», а удовлетворить свое честолюбие, то Войнаровский невольно содействовал ему в этом. Если сейчас он не знает, что готовил Мазепа его стране, значит, он не знает, каков был подлинный смысл его собственной деятельности. Значит, недостаточно «забывать о себе», «не ждать и не просить наград», «все приносить в жертву родине», чтобы и в цепях, и в час казни не покидало сознание своей правоты. Значит, «высокие чувства» и чистота личных побуждений еще не гарантируют, что деятельность героя послужит общему благу.

Затем Войнаровский рассказывает о предсмертном недуге Мазепы. Это самые драматические сцены поэмы и едва ли не самые совершенные в художественном отношении стихи Рылеева (один из них привел в восторг Пушкина, написавшего на полях: «Продай мне этот стих!»). Войнаровскому последние часы гетмана ничего не прояснили в подлинном облике Мазепы, который остался в его глазах «героем», вместе с которым, казалось, погребали и свободу Украины. Но читателю Рылеев тонко, но определенно дает понять: нечиста была перед смертью душа гетмана, его преследовал страх, ему представлялись невинные жертвы его коварства и жестокости. «Он непрестанно трепетал». Он, «задыхаясь, уверял, || Что Кочубея видит с Искрой».

Вот, вот они!.. При них палач! —
Он говорил, дрожа от страху: —
Вот их взвели уже на плаху,
Кругом стенания и плач...
Готов уж исполнитель муки;
Вот засучил он рукава,
Вот взял уже секиру в руки...
Вот покатилась голова...
И вот другая!.. Все трепещут!
Смотри, как страшно очи блещут!..

В поэме Рылеева ставилась и решалась проблема героического характера, который «был для революционных романтиков как бы исторической проекцией их собственного гражданского и нравственного идеала, опорой, помогающей чеканить образ современного героя»¹. Но в ней налицо и иная проблема — взаимоотношение героя с конкретной исторической ситуацией, зависимость объективного смысла его поступков от общественного движения, участником которого он выступает. Эта проблема не получает в «Войнаровском» законченного решения. Но она поставлена. Скоро, после трагедии 14 декабря, значение этой проблемы неизмеримо возрастет. Она станет предметом еще более напряженного внимания поэтов-декабристов, среди которых уже не будет Рылеева.

Эпические произведения Рылеева и созданные позднее поэмы Александра Одоевского, Бестужева, Глинки были средством более глубокого художественного познания действительности, «духа времени», «хода вещей» и его определяющего воздействия на судьбу и деятельность героя. Но они в меньшей степени, чем, например, «Думы», были призваны и способны выполнять непосредственно агитационные функции, которые всегда занимали одно из центральных мест в помышлениях, литературной программе и творческой деятельности декабристов. Поэтому параллельно с опытами в эпическом роде развиваются и приобретают большое значение жанры, преследующие исключительно цели пропаганды, воспитания, воздействия на умы современников. Требовались произведения, относительно небольшие по объему, рассчитанные на бесцензурное обращение, на распространение в списках, произведения, главной функцией которых была революционная пропаганда.

Так складывается особый поэтический жанр — стихотворение-листовка, стихотворение-призыв, стиль которого характеризуется контрастами, ораторскими обращениями, гневными инвективами. Образцами этого жанра могут служить «Гражданин» Рылеева, «На смерть Чернова» Кюхельбекера. Второе стихотворение анализировалось реже первого и главным образом в связи со спо-

¹ И. Г. Неупокоева. Революционно-романтическая поэма первой половины XIX века, М., «Наука», 1971, стр. 77.

рами о его авторе (некоторые специалисты считали, что оно принадлежит Рылееву). Между тем оно могло бы стать предметом особенно интересного и показательного разбора, способного помочь нам уяснить, полнее, лучше представить себе творческие принципы агитационной декабристской поэзии.

Дело в том, что стихи эти были вызваны к жизни конкретными фактами, определенными событиями, хорошо известными современникам. Флигель-адъютант В. Д. Новосильцев, отпрыск богатой и знатной семьи, был помолвлен с Е. П. Черновой, не принадлежавшей к сословной знати. Семья Новосильцева противилась неравному браку и, чтобы разрушить его, плела интриги, носившие оскорбительный, унижающий Черновых характер. Помолвку расторгли, а брат невесты Константин Чернов вызвал Новосильцева на дуэль, во время которой оба участника были убиты.

Дело вышло за рамки семейной коллизии и приобрело общественный резонанс. Он усиливался тем, что Чернов был членом тайного общества, т. е. для декабристов — «нашим», что его вызов Новосильцеву рассматривался как вызов сословному неравенству, аристократической знати, презрительно третирующей тех, кого она считает стоящими ниже себя. Похороны Чернова вылились в политическую демонстрацию, во время которой Кюхельбекер пытался прочесть свои стихи:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.
Нет, не отечества сыны
Питомцы пришлецов презренных:
Мы чужды их семей надменных;
Они от нас отчуждены.
Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь;
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью и Черновым.

Каждая строка этого фрагмента нацелена на то, чтоб придать породившим его событиям совершенно определенное осмысление, предельно расширить их значение, сразу и полностью исключить восприятие происшедшего как личного дела, как семейной коллизии. Ни «временщики», ни «царей трепещущие рабы», ни «тираны, нас

угнесть готовые» прямого участия в решении вопроса о браке Новосильцева не принимали. Тем не менее «вражда и брань» поэта адресованы именно им. Чернов, своего рода «невольник чести», оказывается символом борьбы против всех темных сил деспотического режима.

Более того, конфликт, возникший на почве сословного неравенства, преобразуется в стихах Кюхельбекера в конфликт национальный. Неоднократно и настойчиво подчеркнуто, что «они» — «временщики», «рабы», «тираны» — не русские: «не отчества сыны», «питомцы пришлецов презренных». Они «говорят не русским словом, ||Святую ненавидят Русь». Здесь по-своему проявляется характерное для декабристской идеологии органическое единение патриотизма и гражданственности, убежденность, что все отрицательное в России — чуждо русскому национальному духу. Та же убежденность сказалась и в послании Раевского, когда он писал, что

*племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой.*

Она же породила принципиальную формулу, которой начинается одна из песен Рылеева и Бестужева: «Царь наш — немец русский».

Дуэль Чернова предстает, таким образом, частицей огромной, всеобъемлющей борьбы за очищение родного края от всей и всяческой скверны. Характерно и то, что Кюхельбекер говорит в этих стихах не только от своего имени, но и от имени коллектива единомышленников, говорит не только «я», но и «мы». Личное, собственное «клянусь» стоит рядом с общим «клянемся». Это «мы» сохраняется и в последующих стихах, которые в большей мере, чем начальные, соотнесены с конкретным поводом дуэли:

*На наших дев, на наших жен
Дерзнет ли вновь любимец счастья
Взор бросить полный сладострастья —
Падет, перуном поражен...
Клянемся дочерям и сестрам:
Смерть, гибель, кровь за поруганье!*

Но затем стихи вновь приобретают обобщенный характер и венчающий их образ Чернова — это не образ офицера, дравшегося на дуэли за честь своей сестры,

а возвышенный образ борца, характеризующий словами, которыми декабристы одаряли героев, жертвующих собой ради свободы, ради родины, ради общего блага:

Завиден, славен твой конец!
Ликуй: ты избран русским богом
Всем нам в священный образец;
Тебе дан праведный венец,
Ты будешь чести нам залогом.

«На смерть Чернова», «Гражданин» и другие подобные стихотворения были рассчитаны на революционную пропаганду в среде дворянства. Для иной, более широкой аудитории предназначались агитационные песни Рылеева и Бестужева — одна из наиболее интересных страниц истории декабристской поэзии. В них — попытка выразить народное отношение к самодержавно-крепостническому режиму, думы и чаяния угнетенных на языке самого народа. В них — попытка преодолеть пропасть, которая отделяла дворянских революционеров от молчащей, лишь пробуждающейся для борьбы крестьянской России.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людьми,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?..

По две шкуры с нас дерут,
Мы посеём — они жнут,
И свобода
У народа
Силой бар задушена.

А что силою отнято,
Силой выручим мы то,
И в привольи.
На раздольи
Стариною заживем.

Касаясь этих песен в ходе следствия, А. Бестужев утверждал:

«Сначала мы было имели намерение распустить их в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо она не может не быть некропролитна и не долговременна; а подобные песни могли бы оную приблизить. Вследствие сего, дурачась, мы их певали только между собою. Впрочем, переходя по ру-

кам, многое к ним прибавлено, и каждый на свой лад перевертывал. В народ и между солдатами никогда их не пускали».

У исследователей декабристской поэзии нет единого отношения к этому показанию. Одни, напоминая о том, что декабристы были страшно далеки от народа, предлагают отнести к словам Бестужева с доверием. Другие же считают, что это была искусная и лишь прикрытая внешней оболочкой искренности и откровенности попытка Бестужева уменьшить свою и Рылеева ответственность за создание массовых революционных произведений.

Несомненно, однако, что и «в народе», и «между солдатами» эти песни получили весьма широкое распространение. «Хотя правительство, — вспоминал позднее Н. А. Бестужев, — всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могли находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем... В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция (т. е. оглашен приговор. — Л. Ф.) и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева». Трудно себе представить, чтобы такое распространение эти произведения могли получить против воли их авторов, которые певали их «только между собой» и «никогда не пускали» в народ.

Стоило бы иметь в виду и еще один факт, не привлекавший к себе в данной связи внимания историков декабристской поэзии. Примерно одновременно с агитационными песнями, в 1824 году, Рылевым был написан первый неопубликованный вариант предисловия к «Думам». В нем автор, в частности, говорил, что его цель — «распространить *между простым народом нашим* (курсив мой. — Л. Ф.) посредством дум сих, хотя некоторые познания о знаменитых деяниях предков, заставить их гордиться славным своим происхождением и еще более

любить родину свою». Само собой разумеется, в этом предисловии, первоначально предназначавшемся для печати, Рылеев не мог формулировать цели, которые он ставил перед своими произведениями, сколько-нибудь прямо и незавуалированно. Тем не менее зная, какой смысл вкладывался им и другими декабристами в понятие просвещения, памятуя, что любовь к родине неразрывно связывалась в декабристской этике с борьбой против ее угнетателей, что «познания о знаменитых деяниях предков» призваны были «возбуждать доблести сограждан», мы можем увидеть в приведенных рылеевских словах достаточно много. Но что особенно важно — это указание на стремление вести посредством дум пропаганду «между простым народом нашим».

Однако думы не были родом поэзии, пригодным для этой цели: они предусматривали наличие у читателя того культурного уровня, который среди крестьян и солдат был в ту пору редкостью, требовали известного знания истории и литературы. Для обращения к простому народу требовались иные, более доступные ему жанры, образы, стилистические средства, и они были найдены в агитационных песнях. Но первая редакция предисловия к «Думам» показывает, что обращение с революционной проповедью к народу было не случайной мыслью, а выношенным намерением Рылеева и Бестужева, для него они искали и не сразу нашли подходящую форму. И, наконец, найдя ее, они вдруг «одумались»? В это трудно поверить.

Когда в ходе следствия над декабристами власти начали знакомиться с бумагами участников восстания, они встретились с необъятным морем вольной поэзии. Когда Тайный комитет стал допытываться у узников Петропавловской крепости, откуда они «заимствовали свободный образ мыслей», ему не раз довелось получать такие ответы: «...От сочинений рукописных; оные были свободные стихотворения Пушкина и Рылеева и прочих неизвестных мне сочинителей»; «от чтения различных рукописей, каковы: «Ода на свободу», «Деревня», «Мой Аполлон», разные «Послания» и проч...»; «от чтения вольных стихов господина Пушкина... сочинения сего роду Пушкина, Рылеева и многих других были известны всем почти, кто только любил заниматься чтением стихов»; «везде слышал стихи Пушкина, с восторгом читанные.

Это все более и более укрепляло во мне либеральные мнения».

Когда все это было увидено, услышано и осмыслено, царизм осознал, какую силу представляли собой эти стихи, какую роль сыграли они в идейной закалке поколения, бросившего вызов самодержавию. Может быть, самым впечатляющим признанием действительности и опасности для тиранического режима, которую таила в себе декабристская поэзия, был печально знаменитый приказ Николая I, сообщенный следственной комиссии 29 мая 1826 г.: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Так погибли многие бесценные произведения русской литературы. Среди стихов, вынутых из дел и сожженных, были произведения Пушкина, которых мы не знаем и никогда не узнаем. Но удушить поэзию оказалось труднее, чем это представлялось царю. Стихи были сожжены, стихи продолжали жить.

В письме, которое декабрист Михаил Лунин прислал из Сибири сестре, были такие строки: «В одну ночь я не мог заснуть от тяжелого воздуха в каземате, от насекомых и удушливой копоти ночника, — внезапно слух мой поражен был голосом, говорившим следующие стихи:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи? — спросил другой голос.

— Сергей Муравьев-Апостол».

Эти стихи были написаны в 1823 году в Каменке, где тогда проходил съезд членов тайного общества. Они по-своему отразили и горечь, вызванную в сердцах русских вольнолюбцев известиями о неудачах революционных выступлений на Западе, и сомнения в осуществимости своих собственных намерений. Но они заключали в себе и нечто более глубокое и значительное. Можно понять, почему много лет спустя они так потрясли сердца узников, вновь и вновь возвращавшихся мыслью к пройденному, вновь и вновь переживавших его. В этих пяти строках — скорбное сознание безрадостности предстоящего пути. Но в них и решимость пройти его до конца.

В них сознание одиночества, но и убеждение, что мир, «внезапно озаренный», поймет и оценит значение принесенных ему жертв. Это стихотворение трагично, как трагична сама судьба декабристов, «лучших людей из дворян». Они воодушевлялись стремлениями высокими и чистыми, но на их действиях лежала печать обреченности, потому что они были бессильны без поддержки народа и порой они понимали свое бессилие.

Когда деятельность тайных обществ ушла в прошлое и залитая кровью Сенатская площадь мрачной чертой отделила пору революционного подъема от поры виселиц, каторги и ссылки, тогда декабристская мысль напряженнее, чем когда-либо прежде, задалась вопросами, которые ей так и не удалось разрешить. Стремление осознать причины происшедшего и извлечь из него уроки, хранить незыблемую и гордую верность идеалам разгромленного движения, искать пути, достойные человека, в условиях николаевской России, — таков лейтмотив творчества поэтов-декабристов после 1825 года, таковы побуждения, руководившие поэтами декабристского круга, которые группировались теперь вокруг Пушкина и Вяземского.

Надо хорошо представлять себе обстановку первых последекабрьских лет, чтобы понять, какого мужества требовало каждое выступление в защиту декабристов, каждая демонстрация солидарности с теми, кто был провозглашен «извергами» и «убийцами», каждое напоминание об их деятельности или об их творчестве. Перед лицом жестоких репрессий, последовавших за разгромом восстания, многие представители либеральной интеллигенции проявляли страх и растерянность. Но были поэты, продолжавшие писать стихи, в которых развивались традиции декабристской литературы, и некоторые из этих стихов проникали в печать.

В 1828 году поэт декабристского круга А. А. Шишков опубликовал стихотворение «Бард на поле битвы». Уже построение, тональность, образный и стиховой строй этого произведения, сознательно и демонстративно ориентированного на рылеевские думы, ясно давали понять, о чем стремился напомнить поэт своим читателям.

Сделанное для успокоения цензуры примечание, уведомлявшее, что содержание этого произведения «относится ко времени владычества мавров в Испании», не

могло ввести в заблуждение внимательного читателя. В «Барде на поле битвы» увидели — да и не могли не увидеть — отклик на недавние политические потрясения, попытку воздать должное подвигу людей, которых царизм стремился предать позору и забвению. «Печальный бард», герой стихов Шишкова,

пережил сынов своей отчизны,
И суждено певцу веселых дней
Свершить обряд печальной тризны
На трупях тлеющих друзей.
И он поет им песнь прощанья,
И тихий глас его уныл,
Как в полночь ветра завыванья
Среди чернеющих могил.

«Погибли вы, дружины славы,
Питомцы грозные побед!
Исчез ваш подвиг величавый,
Как легкий сокола полет,
Как в воздухе орлиный след.
Я помню вас в пирах веселых,
На поле чести помню вас:
Я гибель злым читал не раз
На челах мстительных и смелых;
Но вы погибли, ваш удел
В руках судьбы отяжелел!»

К трагическим событиям недавнего прошлого был обращен и взор А. И. Одоевского, когда он писал элегию «Что вы печальны, дети снов». Но это произведение намного шире и значительнее одного лишь реквиема, посвященного павшим борцам. В нем — попытка разобраться в смысле и значении их борьбы, попытка заглянуть в будущее.

Чтобы полнее и правильнее понять содержание этого стихотворения, надо помнить об особенностях историко-литературной обстановки, в которой оно было написано. Журналы и альманахи наполнялись творениями «унылых элегиков», бескрылых подражателей Жуковского, которые, по словам известной статьи Кюхельбекера в «Мнемозине», «жевали и пережевывали» тоску и «щеголяли своим малодушием в периодических изданиях». Одоевский не хотел и не мог допустить, чтобы его поэтические раздумья о смысле жизни и деятельности человека прозвучали в унисон с жалобами «Ивана и Сидора», «напевающих нам о своих несчастьях». Поэтому

стихотворение Одоевского полемически заострено против тех, для кого скорбь — лишь дань моде. «Нет для вас, — говорит им поэт, —

Ни горьких дум, ни утешений;
Минула жизнь без потрясений,
Огонь без пламени погас.

Иное дело тот, кто «духом был борец», кто не по «элегической» традиции, а по праву пройденного пути, по праву познанного и выстраданного задается горькими вопросами:

Зачем мучительною тайной
Непостижимый жизни путь
Волнует трепетную грудь?
Как званный гость, или случайный,
Пришел он в этот чудный мир,
Где скудно сердца наслаждение
И скорби с радостью смешенье
Томит, как похоронный пир...

Какая участь ждет «потомков новых поколенья»? Не окажутся ли тщетны и их помыслы и действия?

Вновь закипит младое племя,
И до могилы жизни бремя,
Как дар без цели, донесут
И сбросят путники земные...
Без цели!.. Кто мне даст ответ?

Современная действительность не давала ответа на этот вопрос. Но она не смогла лишить поэта веры в то, что «святые порывы», «чувства жар», «мыслей свет», «высоких мыслей достоянье» — все это не погибнет, все это те «труды века», благодаря которым «восходит» «в лазурь небес» здание будущего.

Те же проблемы, те же раздумья о недавних трагических событиях волновали Одоевского и тогда, когда он создавал поэму «Василько» — один из самых оригинальных и художественно совершенных образцов декабристского эпоса.

Как уже было показано в литературе, наиболее примечательной стороной проблематики «Василько» является выдвижение на первый план проблемы народа¹.

¹ См. разбор «Василько» в кн. В. Г. Базанова «Очерки декабристской литературы. Поэзия». М.—Л., Гослитиздат, 1961, стр. 362—366.

Народ в этой поэме — не просто верные и безгласные сподвижники героя, вроде ратников Дмитрия Донского, казаков Ермака и Богдана Хмельницкого в рылеевских думах. Народ здесь — самостоятельная и значительная сила, от которой зависит судьба героя и исход его замыслов.

Первая же сцена поэмы ведет нас «на стогны Теребовля», на народную сходку, где князь Василько «заводит... отеческое слово», рассказывает о своем намерении «поднять стяг» на ляхов. Показательно, что народ на теребовльской сходке имеет право не только одобрять решения князя, но и оспаривать их. Один из городских старейшин возражает против планов Василька. Князь объясняет ему свои намерения. «Старец», предлагавший отказаться от похода на ляхов, ничем не напоминает волхва, прорицающего грядущее. Его спор с князем ведется на равных и важен как живое свидетельство демократизма, господствующего в Теребовле.

Показательна характеристика, которую дает герою поэмы его враг — владимирский князь Давид:

Он черни льстит на вече, а дружина
За то его возносит до небес,
Что, с юных лет ее послушный кличу,
Водил ее успешно на добычу.

Как явствует из этих слов, Василько прислушивается к мнению народа («дружины»), считается с его волей и даже, по мнению Давида, руководствуется ею. Именно в этом секрет его популярности. Заключение Василька в темницу, на которое толкает Давид киевского князя Святополка, не может получить поддержки народа. Святополк в растерянности:

Как он любим, как он любим, Давид!
Еще мне вече в слухе раздается...
Мне одно осталось
Давид!.. пустить на волю!.. Весь народ
Заступится за князя. Из темницы
Он мне назло исторгнет Василька ..

Давид убежден, что для князя пойти на уступки народу — значит погубить себя:

Вся чернь воскликнет: «Мы спасли его,
Мы совлекли оковы: он невинен,
Он праведник, наш светлый Василько!»

И станет гнать тебя, как вероломца:
Себя почтет преступный твой народ
Твоим судьей, поставленным от бога...

Но, к несчастью для Василька, народ оказывается пассивен и не способен встать на его защиту. В решающий момент герой остается один. Между симпатиями масс и их готовностью к действиям обнаруживается трагический разрыв.

... Ни единый взор
Во тьме ночной и в тишине безлюдной
Из окон не стремится к Васильку,
Не взглянет на него из сострадания;
Как шумные колеса ни стучат,
Но мирный сон объемлет стольный град.
Зачем их стук в сердцах не отозвался,
Защитников собой не пробудил?..

На этот вопрос, главный вопрос поэмы: почему народ и герой оказались трагически разъединены, почему герой не нашел себе «защитников» в массах, Одоевский не видел ответа.

Не подлежит сомнению, что проблематика «Василько» прямым образом связана с трагическими событиями 14 декабря и разгромом дворянского революционного движения. Вместе с тем было бы неверно усмотреть в ней подобие того исторического маскарада, того «воскрешения мертвых», о котором писал Маркс в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». В ней нет ни прямых намеков на современность, ни явных анахронизмов, которых было так много в думах Рыльева. Скорее перед нами попытка на историческом материале осмыслить закономерности общественного развития, причем это осмысление представлялось особенно необходимым потому, что его итоги можно было применить и к современности.

В «Рождении Гомера», в «Войнаровском» и в «Василько» воплотились три этапа развития декабристской поэмы. Характерно, что хотя все три произведения связаны с актуальными проблемами, все они строились на историческом материале. Их сопоставление позволяет видеть, как углублялся историзм мышления дворянских революционеров, как прогрессировало их понимание своеобразия разных эпох и движущих сил исторического процесса.

Интересен и полон глубокого смысла стиховой строй «Василько». В строфе поэмы своеобразно использовано сочетание выразительных возможностей белого и рифмованного стиха. Одоевский обращался к такому сочетанию неоднократно и оставил несколько впечатляющих образцов этого поэтического приема.

Так, «Старица-пророчица» начинается белым стихом, в тональности, близкой к народной балладе:

На мосту стояла старица,
На мосту чрез синий Волхов;
Подошел в доспехах молодец,
Молвил слово ей с поклоном:
«Загадай ты мне на счастье:
Ворочусь ли через Волхов?»

Но вот начинается описание битвы, и балладная напевность рассекается трубными звуками четырехстопного дактиля:

Трубы звучат за Шелонью-рекой:
Грозно взывают московские стяги!
С радостным кликом Софии святой
Стала дружина — и полный отваги
Ринулся с берега всадников строй!

Но отшумела битва, пал Новгород, и героическая мелодия вновь сменяется унылым напевом:

Проезжало много всадников,
Много пеших проходило,
Было много изувеченных,
И покрытых черной кровью.
Что ж? прошел ли добрый молодец?..
Не прошел он через Волхов.

В другой балладе «Неведомая странница» белым стихом описана экспозиция: толпа изгнанников покидает Новгород и в этой толпе идет неизвестная женщина, которая говорит своим спутникам слова «святого утешения». Эти слова заключают в себе главное содержание стихотворения: веру в лучшее будущее сегодня «бедного народа», в то, что «страдания», «цепи», «бичи», «темницы тесные» не вечно будут его уделом. Для них поэт оставляет белый стих и заключает пророческую речь странницы в рифмованные четверостишия:

Нет, веруйте в земное воскресение
В потомках ваше племя оживет,
И чад моих святое поколение
Покроет Русь и процветет.

«Василько» написан восьмистишными строфами, причем в каждой строфе первые шесть стихов белые, а два последних связаны парной рифмовкой, которая придает строфе законченность, завершенность и отделяет ее от следующей. Стиховой строй этой поэмы доносит до читателя отзвук отдаленного прошлого, дыхание старины. Но в ней нет стилизации под былинку или историческую песнь. В стихе «Василько» использованы средства поэтической выразительности, созданные в разные эпохи. В нем — тот сплав прошлого и современности, который пронизывает и проблематику поэмы.

«Василько» Одоевского — произведение, родившееся на историческом перепутье. Стремление осознать причины неудачи, постигшей дворянских революционеров, связывает ее с декабристской эпохой. Но то, как это стремление реализовалось, то направление, в котором двигалась мысль поэта, роднят ее с будущим, со следующим этапом русской истории.

Из многих произведений русской демократической поэзии, отразивших идейные искания поколения, разбуженного декабристами, вспомним одно:

Над вашей памятью кровавой
Теперь лежит молвы позор;
На ней поэт, вензанный славой,
Остановить не смеет взор...

Так начинается стихотворение «Декабристам», получившее распространение в 30-е годы XIX века. Неоднократные попытки историков установить его автора пока не дали убедительных результатов. Но очевидно, что его устами говорила новая шеренга борцов, готовая поднять знамя, выпавшее из рук декабристов, и понести его вперед.

Конечно, укор, брошенный при этом «поэту, венчанному славой» (т. е. Пушкину), несправедлив. Пушкин не раз и не два «останавливал взор» на своих друзьях, вышедших декабрьским утром 1825 года на Сенатскую площадь, и «милость к падшим призывал». Показательно, что и сам автор стихотворения «Декабристам» идет по пушкинским стопам, выражает ту же уверенность в грядущем торжестве дела дворянских революционеров, которая продиктовала Пушкину известные стихи: «Не

пропадет ваш скорбный труд || И дум высокое стрем-
ление».

Но вы погибли не напрасно:
Все, что посеяли, взойдет,
Чего желали вы так страстно,
Все, все исполнится, придет!

Но, продолжая пушкинскую мысль, автор стихотворения с определенностью и недвусмысленностью, которых нельзя было видеть прежде, говорит, что дело декабристов продолжат и доведут до победного конца народные массы.

Иной восстанет грозный мститель,
Иной восстанет мощный род:
Страны своей освободитель,
Проснется дремлющий народ.

В* победный день, в день славной тризны,
Свершится роковая месть —
И снова пред лицом отчизны
Заблещет ярко ваша честь.

Не взывая к минувшим векам, а осмысливая трагические события недавнего прошлого, автор стихотворения «Декабристам» по-своему сказал в нем о том же, о чем вещали когда-то русскому читателю величавые ямбы «Рождения Гомера»:

Героям смерти нет, нет подвигам забвенья...

„НЕТ ПОДВИГАМ

ЗАБВЕНЬЯ“

Подводя итоги тех наблюдений и раздумий, с которыми мог познакомиться читатель этой брошюры, нельзя не задаться вопросом: каково соотношение затронутых в ней проблем с нашей современностью? Стала ли поэзия декабристов лишь главой литературной истории или те эстетические и этические идеи, которые были выдвинуты дворянскими революционерами, и сегодня сохраняют какую-то меру актуальности? Чему учит наших современников опыт декабристской поэзии?

Важнейшая, определяющая особенность поэзии дека-

бристов состояла, как мы видели, в том, что они подняли литературу на уровень общенационального дела, сделали стих средством революционной пропаганды.

Признание за искусством высокой и важной общественной функции не только не ушло в прошлое на протяжении последующих десятилетий, но напротив, обрело новую основу, какой не имело и не могло иметь в декабристскую эпоху. По мере демократизации русского освободительного движения, охватывающего все более широкие слои населения страны, по мере того, как все большее значение приобретала проблема идейной вооруженности поднявшихся на борьбу за свою свободу народных масс, возрастала цена опыта, который был накоплен русской литературой в деле революционной агитации. Изучение, обобщение и использование этого опыта стало насущной необходимостью в эпоху марксизма и пролетарских революций. Когда В. И. Ленин ставил задачу создания литературы, которая призвана «стать *частью* общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма»¹, он опирался на творческие достижения тех писателей прошлого, которые осознанно ставили свое перо на службу общественному движению, передовым идеалам современности. Среди них были и поэты-декабристы.

Вдохновленные этими идеалами, убежденные в «высоком», «святом» назначении искусства — способствовать решению жгучих социальных проблем своего времени, охваченные стремлением освободить свою родину от самодержавной тирании, декабристы создали произведения, которые и сейчас волнуют сердца миллионов людей. Их поэтическое наследие служит действенным опровержением теорий, которые по сей день охотно культивируют буржуазная и ревизионистская эстетика, — о том, что тенденция якобы губительна для произведения искусства, что воплощение мировоззрения писателя в художественной ткани произведения препятствует правдивому отображению действительности.

Но опыт декабристов учит и другому. Он показывает, что прямолинейно прагматический подход к искусству, не учитывающий его особенностей как специфического общественного явления, предвзятость в подходе к тем или

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 101.

иным темам или жанрам или априорный отказ от них как якобы ненужных или несвоевременных обедняют художественную палитру, мешают писателю раскрыть всю силу и глубину своего таланта и тем самым — полно и всесторонне решить стоящие перед ним задачи. Такой подход к литературе помешал некоторым декабристам в полной мере понять и справедливо оценить творческие свершения своих предшественников и современников.

Тенденциозность, как она понималась декабристами и реализовалась в их эстетике и художественной практике, заключала в себе глубокое, внутреннее противоречие. В ней кроется объяснение и сильных, и слабых сторон их произведений, и впечатляющих достижений, и серьезных просчетов. Закрывать глаза на это бессмысленно, этот факт нужно видеть и оценивать всесторонне и беспристрастно.

Мы имеем все основания видеть достоинство декабристской поэзии и великую заслугу ее создателей именно в ее политической тенденциозности, в открытом, преднамеренном выражении в их стихах социально-классовых пристрастий, симпатий и антипатий. Но мы видим и то, что тенденциозность декабристской литературы принимала порой формы, наносившие урон полноте, всесторонности изображения ими жизни и человека.

Тенденциозность декабристской поэзии обусловила необыкновенно острую постановку в ней проблем долга, коллизии долга и чувства, «поэзии» и «гражданственности». Известна автохарактеристика Рылеева, сказавшего о своих стихах:

Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства, —
Я не Поэт, а Гражданин.

Эта антитеза оказалась созвучна этическим и эстетическим концепциям революционных демократов. Не раз обращало на себя внимание сходство приведенных рылеевских строк со знаменитой формулой Некрасова:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Но есть все основания вспомнить в этой связи и о других его программных эстетических декларациях:

Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь.

Торжествует мстительное чувство,
Дорогая, теплится любовь...

Служи не славе, не искусству —
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви.

Есть основания вспомнить и высказывания его современников: поэтов-демократов второй половины XIX века, поэтов революционного народничества.

Я не поэт, — и, не связанный узами
С музами, —

писал В. С. Курочкин.

Нет! не рожден поэтом я!..
Средь грез и рифм забыться
Я не могу! Душа моя
К борьбе с врагом стремится!
И муза мне на ум нейдет...
Лишь жажда воли сердце рвет!

Это стихи Н. А. Морозова («Проклятие!»).

Широкое распространение получает в ту эпоху и другой тезис, близкий идеологии декабристов: что гибель ради свободы и родины — это не тягостная необходимость, а радость, счастье. Для некрасовского героя «нет ничего желанней, | Прекраснее тернового венка», «смерть ему любезна». П. Ф. Якубович писал, что «счастье — жизнь отдать за слабых и несчастных|| За страстно, долго жданный свет!» Эти идеи — своеобразное продолжение тех воззрений, тех этических норм, которые отстаивала и пропагандировала декабристская поэзия:

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,
И радостно гибнет за правое дело.

(К. Рылеев. «Иван Сусанин»)

Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливцев, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!

(Кюхельбекер. «Тень Рылеева»)

Подобные аналогии возникают, разумеется, не случайно. Их не объяснишь литературной учебой и даже литературными влияниями. Дело в том, что новая эпоха способна ставить перед новым поколением художников проблемы, подобные проблемам, стоявшим перед их предшественниками. И тогда сходные вопросы могут вызывать сходные решения. И тогда последующее поколение — порой сознательно, порой неосознанно — использует идейно-художественный опыт поколения предыдущего. Но в новых условиях даже сходные формулировки, образы, тенденции приобретают новый смысл. Сопоставляя их, мы видим и «живую историческую связь», в силу которой «новое выходит из старого, последующее объясняется предыдущим и ничто не является случайно» (Белинский). Мы видим и своеобразие каждого этапа литературной истории, его самобытность, его место в процессе художественного развития.

Двадцатый век, принесший с собой новые и более масштабные, чем когда-либо прежде, социально-классовые потрясения, побудил литературу к новой постановке прежних проблем. При этом пройденный путь и накопленный опыт не отбрасывались, но становилась зримой необходимость привести воспринимаемые традиции в соответствие с грандиозностью наступившей эпохи. Певцу этой эпохи — Маяковскому старые коллизии видятся в иных, «укрупненных» масштабах.

Отсюда — несопоставимо большая резкость формулировок, отражающая большую остроту противоречий.

«Ты скажи, — спрашивал Маяковский поэта-современника, — сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? И если ты даже скапутился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная». Значит, стихи о лунной ночи — помеха поэзии как оружию класса?..

Бедная луна! Еще в 1824 г. Кюхельбекер корил Жуковского и поэтов его школы за то, что в их стихах постоянно изображается *«луна, которая — разумеется — уныла и бледна»*. Сто лет спустя луна вновь — синоним мелкотемья, наскучившего, однообразного, безыдейного стихотворства:

...Луна, мол,
над долиной

мчит
ручей, мол,
по ущелью.

Что это, случайное совпадение полемических приемов? Конечно, нет. Дело в том, что тот тип поэта, замкнувшегося в узком мирке «сетований» «о своих несчастиях», против которого выступил Кюхельбекер, был объективно сходен с тем типом поэта, «реящего над облаками», «блеющего», «мандолинящего из-под стен», с которым боролся Маяковский. Отсюда сходство и в средствах борьбы. Но ни Кюхельбекер, ни Маяковский в своей творческой практике не предавали анафеме пейзажную лирику.

Как и декабристы, Маяковский не раз решительно, полемически заостренно выступал против интимных жанров («Забудьте про свой сонет да про опус»), против интимных тем («...Нынче не время любовных ляс»). Как и декабристы, Маяковский не отказался ни от этих жанров, ни от этих тем. Когда мы читаем гордые строки Маяковского, что он «ушел на фронт из барских садоводств поэзии — бабы капризной», то не только их содержание, но и тональность побуждают вспомнить слова Рылеева: «Я не поэт...» «Ты не увидишь в них искусства...» А программные требования декабристов «превозносить полезное», «выражать полезные помышления», «полезным быть для света» вызывают естественные аналогии со словами Маяковского:

В наше время
тот —
поэт,
тот —
писатель,
кто полезен,

И Маяковский готов был порой (как некогда Вяземский) декларировать свою терпимость к «недоделанности слога»:

Если стих
не попевает
за былью плестись —
сырыми
фразами
бей, публицист!

Но мы знаем, как упорно боролся с сырой фразой автор статьи «Как делать стихи». Мы помним, с какой решительностью и непреклонностью он требовал от своих товарищей по перу «выкрепить мастерство».

То, о чем мы ведем разговор, — не поиски соответствий в творческих декларациях поэтов разных эпох, не материалы для школярской темы о традициях декабристов у Маяковского. Речь идет о судьбе эстетических, а отчасти и этических проблем, которые были введены декабристами в русскую литературу. О том, что спустя столетие, столкнувшись в новых условиях со сходными проблемами, крупнейший из советских поэтов вновь испытал их сложность и противоречивость.

* * *

В начале этой брошюры подчеркивалось, что поэзия декабристов — страница не только истории литературы, но и истории общественного движения в нашей стране. Необходимо, однако, помнить и другое: это страница не только истории общественного движения, но и истории литературы. Поэтическое творчество дворянских революционеров оставило нам не одни лишь философские, социальные, политические идеи. Оно оставило стихи, непреходящие художественные ценности, шедевры поэтического слова. А значение стихов не может быть сведено лишь к ценности идей, концепций, которые они в себе заключают.

Художественное наследие — это наследие особое, качественно отличное от других его форм. Художественное наследие не просто усваивается, учитывается в поступательном движении. Оно переживается заново каждым новым поколением, и каждое новое поколение находит в нем что-то свое.

Конкретные условия, вызвавшие к жизни произведение искусства, могут измениться, могут исчезнуть. Идеи, которые стремился аргументировать автор, могут устареть. Но вложенное в это произведение чувство не стареет. Минувшие десятилетия и даже века не мешают нам ощущать поэтов прошлого своими современниками. Мы переживаем их боль и скорбь. Мы произносим их слова так, как будто они вылились из нашего собственного сердца.

Полтора века назад декабристская литература была органической частью дворянского революционного движения. Она формулировала его политическую программу. Она мобилизовала борцов в его ряды. Эта программа давно исчерпана. Исторические задачи движения ушли в прошлое. Но поэзия декабристов не ушла в прошлое. Она с нами. Она будет с нами всегда.

ЧТО ЧИТАТЬ

О ПОЭЗИИ ДЕКАБРИСТОВ

Изучение литературного наследия декабристов продолжается уже более ста лет. Начало ему положили Герцен и Огарев. Из уст создателей вольной русской прессы за границей Россия услышала страстный призыв спасти от забвения и гибели запрещенные и распространявшиеся в списках стихи Рылеева и его соратников. Многие из этих произведений были впервые опубликованы Вольной русской типографией. Герцен и Огарев предприняли первые попытки правдиво осветить вклад поэтов-декабристов в историю русской литературы, русской общественной мысли, освободительного движения. Несколько позднее художественные произведения членов тайных обществ, их письма и другие материалы стали появляться и в легальной печати.

Но подлинно научные издания поэтов-декабристов, глубокие, разносторонние, основанные на марксистско-ленинской методологии исследования их жизни и творчества были осуществлены лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. Это заслуга нескольких поколений ученых, в числе которых следует назвать В. Г. Базанова, П. С. Бейсова, Д. Д. Благого, М. А. Брискмана, Л. Я. Гинзбург, Г. А. Гуковского, А. М. Гуревича, Ю. М. Лотмана, Б. С. Мейлаха, Н. И. Мордовченко, Ю. Г. Оксмана, В. Н. Орлова, Е. М. Пульхритудову, И. М. Семенко, А. Н. Соколова, Н. Л. Степанова, Ю. Н. Тынянова, У. Р. Фохта, А. Е. Ходорова и других.

Ниже приводится перечень основных изданий поэтических произведений декабристов и избранная литература о них. Тем, кто хочет глубже познакомиться с поэзией декабристов, рекомендуем библиографические указатели: Движение декабристов. Сост. Р. Г. Эймонтова. Под ред. М. В. Нечкиной. М., Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960, История русской литературы XIX века. Под ред. К. Д. Муратовой. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962.

* * *

Поэты-декабристы. Стихотворения. Вступ. статья и прим. Б. С. Мейлаха. Л., «Советский писатель», 1949 («Библиотека поэта». Малая серия).

Поэзия декабристов. Вступ. статья, подгот. текстов и прим. Б. С. Мейлаха. Л., «Советский писатель», 1950 («Библиотека поэта», Большая серия).

Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. Сост. В. Н. Орлов, М.—Л., Гослитиздат, 1951.

Поэты-декабристы. Вступ. статья, подгот. текста и прим. И. М. Семенко. Л., «Советский писатель», 1960 («Библиотека поэта». Малая серия).

Поэты-декабристы. Составление, вступ. статья и прим. В. Г. Базанова. М., «Художественная литература», 1967.

* * *

А. А. Бестужев-Марлинский. Полн. собр. стихотворений. Вступ. статья и прим. Н. И. Мордовченко. Л., «Советский писатель», 1961 («Библиотека поэта». Большая серия).

Ф. Н. Глинка. Избранные произведения. Вступ. статья, подгот. текста и прим. В. Г. Базанова. Л., «Советский писатель», 1957 («Библиотека поэта». Большая серия).

П. А. Катенин. Избранные произведения. Вступ. статья, подгот. текста и прим. Г. В. Ермаковой-Битнер. М.—Л., «Советский писатель», 1965 («Библиотека поэта». Большая серия).

В. К. Кюхельбекер. Избранные произведения. В 2-х т. Вступ. статья, подгот. текста и прим. Н. В. Королевой. М.—Л., «Советский писатель», 1967 («Библиотека поэта». Большая серия).

А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотворений. Вступ. статья, подгот. текста и прим. М. А. Брисмана. Л., «Советский писатель», 1958. («Библиотека поэта». Большая серия).

В. Ф. Раевский. Полн. собр. стихотворений. Вступ. статья, подгот. текста и прим. В. Г. Базанова. М.—Л., «Советский писатель», 1967. («Библиотека поэта». Большая серия).

К. Ф. Рылеев. Полн. собр. стихотворений. Вступ. статья В. Г. Базанова и А. В. Архиповой. Подгот. текста А. В. Архиповой, В. Г. Базанова, А. Е. Ходорова. Прим. А. В. Архиповой и А. Е. Ходорова. Л., «Советский писатель», 1971. («Библиотека поэта». Большая серия).

* * *

В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М.—Л., Гослитиздат, 1961.

Л. Я. Гинзбург. О проблеме народности и личности в поэзии декабристов. — В сб. «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы». М.—Л., Гослитиздат, 1960.

Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. М., «Художественная литература», 1965, гл. II.

Литературное наследство, тт. 59, 60 (ч. I и II). Декабристы-литераторы. М., Изд-во АН СССР, 1954—1956.

Ю. М. Лотман. Русская поэзия начала XIX века. — В кн.: Поэты начала XIX века. Л., «Советский писатель», 1961 («Библиотека поэта» Малая серия).

Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха, М., Гослитиздат, 1958.

10 коп.

Индекс 70069